

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ



Валентин
Иванов



РУСЬ
ИЗНАЧАЛЬНАЯ

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Валентин Иванов

Русь изначальная

«Азбука-Аттикус»

1961

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Иванов В. Д.

Русь изначальная / В. Д. Иванов — «Азбука-Аттикус»,
1961 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-23670-7

Роман Валентина Иванова «Русь изначальная» принадлежит к условной исторической трилогии, посвященной времени становления Русского государства – «эпохе дальней, о которой еще никто не писал». С момента первой публикации в 1961 году этот монументальный эпос заслуженно пользуется любовью читателей, выдержал множество переизданий, а в 1985 году сюжет романа лег в основу одноименного фильма. VI век нашей эры. Племена восточных славян разрозненны, но они говорят на одном языке и живут сходными традициями. Вынужденные обороняться против разбойничьих набегов иноверцев-кочевников, они начинают задумываться об объединении перед лицом общего врага... Детально проработанный образ славянского быта и традиций в сочетании с увлекательным сюжетом и выразительными портретами персонажей завоевали книгам Валентина Иванова почетное место среди лучших образцов жанра исторического романа.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-23670-7

© Иванов В. Д., 1961
© Азбука-Аттикус, 1961

Содержание

Том первый	6
Пролог	6
Глава первая	9
Глава вторая	40
Глава третья	75
Глава четвертая	96
Конец ознакомительного фрагмента.	128

Валентин Иванов

Русь изначальная

© В. Д. Иванов (наследник), 1961

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Том первый

Пролог

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.*

Ф. И. Тютчев

Восточный берег полуострова, занятого Византией, избран для собрания дворцов, храмов, служб, садов. Это Священный Палатий, алтарь Единоголичного Владыки империи. Сегодня в прохладном дыхании близкого Евксинского Понта Палатий казался земным раем.

В одной из комнаток одной из палатийских канцелярий трудился над рукописью мужчина лет тридцати пяти – сорока. Постоянный советник полководца Велизария и неизменный его спутник Прокопий, человек образованный и умный, что важно, и хитрый, что еще важнее для существующих в тени Власти, был сух и крепок телом. Углы его рта подчеркивала складка, свойственная тем, кто годами умел вежливо или, лучше, искательно улыбаться речам вышестоящих. Он был слегка сутуловат, не помогали гимнастика и усилия массажистов. Прокопий слишком много времени проводил за работой. Женат он не был и не знал забот о семье.

Главнейшей из всех наук ему казалась история людей. Он считал, что человеку, не ведающему прошлого, непонятно и настоящее: зримое невеждой лишено глубины, подобно плоским рисункам на стенах древних египетских храмов.

Дабы продолжить труд прошлых писателей, Прокопий рассказывал о своем времени. Он хотел правдиво изложить то, что видел сам, и сообщенное другими. Для этого нужно уметь спрашивать и постигать смысл прочтенного. Обдумывая узнанное, следует отделить зерно от половы. Нужно не только собрать, но, установив связи, придать рассказу стройность. Дождевой червь, чтобы двигаться, пропускает землю через свое тело. Таковы писатель и жизнь, текущая через его разум.

Знать, понять происходящее внутри империи и за ее границами... Прошло время, когда империя цепко разрасталась, жадно поглощая захваченное. Ныне империя только защищается на территории вдвое меньшей, чем некогда. Откуда назревают угрозы? Не с Запада, где варварские государства истощаются сварой на старых имперских землях в Испании, Галии, Британии, по Рейну. Готы, захватившие Италию, выдохлись. На Востоке империя привычно сдерживает персов малыми войнами, переговорами, золотом. Только Север копит неизвестные силы. Дунайская граница постоянно попирается нашествиями племен, которые, по всем сообщениям, прочно владеют пространствами за Дунаем и Евксинским Понтом.

Все прежние писатели называли по-разному северные народы. Преемственности среди этих народов, казалось, не было. Но, в сущности, никто не обладал верными сведениями. Однако же вполне возможно, что со времен Гомера, Гекатея, Геродота на Севере не было чрезвычайных перемен. Люди одного племени могли называть себя по-разному для отличия от соплеменников, владельцев смежных угодий. Несомненно, что изустная передача чужих, непривычных слуху эллина и римлянина имен искажала их до неузнаваемости.

Прокопий, не желая повторять недостоверные для него сообщения, старался ограничиться настоящим временем. Но необходимо рассказать существенное о прошлом и о быте северных племен, ибо до сих пор нападения на империю кажутся людям беспричинными

наводнениями с невидимых гор. Таковы результаты невежества, ибо все имеет причины, определяющие следствия.

Почти полное тысячелетие отделяло Прокопия от века, в котором жили Отец Истории Геродот и великий Фукидид. Прокопий думал об исканиях и мучениях этих людей. Без опыта никому не познать сущности любого мастерства, лишь пишущий поймет пишущего. Писателю нужна решимость большая, чем другим, так как сомневающийся не закончит и строчки, он осужден на бесплодие бесконечных помарок и чистых страниц. На самом деле жизнь снабжена бесчисленными гранями. Испытываемая разумом, она меняет свой вид, как изрезанный берег Эллады перед взглядом морехода. Каждая строка требует проявления мужества, каждая мысль есть решение полководца. Нет, военачальник может уклоняться от сражений, в его власти замена штурма бездействием терпеливой осады. Писатель же подобен солдату, рвущемуся на стену.

Прокопий начал:

«Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но живут в народоправстве».

Он знал, что славяне и анты говорят одной речью, живут одинаковым укладом. Одни располагаются ближе к империи, другие – дальше. В названии «анты» для Прокопия звучал корень латинского слова, обозначающего местонахождение «раньше, против». К тому же ни одно из славянских племен не называет себя антами. Прокопий сохранял это название, чтобы быть лучше понятым.

Итак, они живут в демократии... Дальше!

«Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом. И в остальном у этих народов вся жизнь и все законы одинаковы».

Его окружили образы, для него священные: общины свободных и равных людей, сильных единством воли, подчиняющихся лишь необходимости. Он продолжал во власти Вдохновенья:

«Они считают, что только единый бог, творец молний, владычествует над всеми, ему приносят они жертвы и совершают другие обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что Судьба по отношению к людям имеет какую-либо силу...»

Вдохновенье! Великое и неопределимое философами понятие. Часто Прокопий убеждался, что истина легче открывается Вдохновенью, чем усилиям разума. Но как легко спугнуть эту дивную птицу! Перечитывая написанное, Прокопий размышлял.

Он написал о людях, которые пользуются демократией и отрицают власть Судьбы. Да, таковы в действительности быт и воззрения славян, антов. Но что может подуматься иной, прочтя эти строки? Базилевс Юстиниан выжигает в империи последние следы демократии, а без упоминания о Судьбе немислима речь христианина.

Прокопий был хорошо знаком с языческими воззрениями. В прошлом люди считали Фатум сильнее олимпийцев. Христиане восприняли это понятие как выражение неизреченной воли своего бога. Поэтому в описании славян иной злонамеренный и выслуживающийся поданный Юстиниана обнаружит и мятежное осуждение автократии, и неверие в бога. Ни сам клеветник, ни внимающий доносу не захотят ознакомиться с источниками осведомления историка. Его даже не спросят, он будет осужден заочно.

Следуя за Велизарием, вдали от Византии Прокопий дышал свободнее, писал смелее. Здесь иное – Палатий душил писателя. Не шевелясь, он взглянул вправо, влево. Увлечшись, он, кажется, рассуждал вслух. Он знал за собой это опасное свойство. К тому же, как многие авторы, он любил читать написанное вслух, чтобы ухом проверить слог и содержание.

Железный доспех, которого никогда не снимают, уродует тело. Нельзя вечно давить в себе протест и оставаться здоровым. Печальна участь камня, одиноко противостоящего течению.

Прокопий скользнул к двери, положил руку на медную задвижку. Нет, он не забыл запечататься, никто не мог подслушать. Если у него и вырвались опасные слова, сегодня железная западня Судьбы-Случая останется голодной.

В окне – прочная решетка. Одиночество в одиночестве. Нельзя доверять ни кровным, ни близким. Когда был создан этот неписанный закон существования подданных?

– Скажи, – спросил себя Прокопий, – в действительности ли ты веришь во всепобеждающую силу Судьбы, как все? В твоих книгах ты умеешь ссылаться на нее. Где же ты был искренен, а где ты указывал на Судьбу лишь для памятной заметки в надежде на пришествие времени, когда сможешь объяснить, что не Судьба, а злая воля Юстиниана и Феодоры были причиной всеобщих бедствий?

Прокопий ощутил свою слабость, бездарность. К чему все это? Зачем, для кого? Его перо слабо, его мысль скудна. Ему казалось, что он не напишет больше ни строчки. Он сух, он бесплоден. Если бы он мог, он молился бы как безбожник, который в бурном море взывает о помощи к всевышнему.

Он горько уличал себя: как все, ты находишь утешение во всемогущей Судьбе, в ней ты ищешь защиту против людей, с которыми ты не смеешь бороться, которых боишься обличить! А свобода воли? Так кто же ты сам? Где твоя мера, которой ты надменно измеряешь дела других? И когда ты начнешь писать книгу Правды?

Сумерки подкрадывались к Святому Палатию. Успокоившись, Прокопий думал о юности народов, и Вдохновение нежно ласкало писателя. Он был убежден, что не так давно, тому назад полтора или двести поколений, на берегах Теплых морей сиял Золотой век людей, живших в народоправстве. Тогда свобода мысли не укрощалась отваром цикуты, топором палача или отлучением от церкви.

А Судьба? Быть может, действительно существует роковая связь событий, не зависящая от воли человека. Если и так, то в те далекие и ясные лета Фатум, злобный, неумолимо слепой, но и прибежище слабых, спал в бездонности вод Мирового океана. Ибо тогда еще не было надобности в Ужасе богов и в утешении смертных. Может быть...

Так пусть же остается написанное о славянах. Ложь есть смерть, и правда, как дыхание, нужна человеку. Прокопий громко поклялся:

– Верую! Истинно верую! Нелицеприятно исследуя жизнь и глядя правде в лицо, люди воскресят Золотой век, которому имя Свобода!

Глава первая Росичи

Там русский дух... там Русью пахнет!
А. С. Пушкин

1

С вечного дуба смотрел владыка Огня и Жизни. Бог, который для плодородия Земли золотыми бичами гоняет в небе черных коров, однажды громовым копьём бросил себя на священное с того дня дерево. Это было давно-давно, при пращурах или при более дальних предках, для которых по древности лет нет обозначения степени родства.

Бог сломил-разбил вершину дуба и, уйдя назад от оплодотворенной земли в небесную твердь, оставил свой образ в стволе. Так верили, так передавали иные. Другие же помнили сказание об искуснике-мастере. Он вдохновенным резцом и силой каленого железа обозначил в дереве явление Сварога. Так ли случилось или иначе, но каждый еще и сегодня мог увидеть лицо: под черным, выпуклым, как щит, челом сидели два глубоких глаза, и левый был прищурен, будто у лучника. Раздутые ноздри прямого, как у русских людей, носа напоминали о турезубре, когда замирает он глыбой серого камня, чутко слушая запахи степи. Усы бога, слившись с бородой, стекали семью неравными прядями, а концы прядей прятались под корой. Руки скрывались в сучьях более толстых, чем тело человека, ноги оделись корнями. Огненный бог Сварожище глядел из пролысины в зелени дуба на заросские степи, щурился, присматривался. А из-за Рось-реки Ратибор, затаившись, смотрел на большое, как налитый ячменным пивом воловий мех, лицо бога русских людей. Ратибор не знал, нет ли на дубе и других глаз, кроме Сварожьих? Не кроются ли в ветвях и другие лица?

Как осторожная птица, подняв над зарослью головку, медленно прячет ее, втягивая длинную шею, – знает: ничто так не привлечет врага, как быстрое движение, – так Ратибор вновь спрятал в траве свою голову с собранными на затылке в пучок светло-русскими волосами.

Ратибор полз на четвереньках, по-волчьи. Загрубев от упражнений, голые локти и колени не чувствовали уколов жесткой травы.

Время медленно тянулось за полудень. Жарко, в такой час крылатые зря не летают. Двигаться нужно с оглядкой, без спешки. Иначе спугнешь птицу, и она тебя выдаст резким взлетом. Птицы много в заросских нетронутых травах. Слободские берут зверя, чтобы добыть мясо и кожу. Птицу же трогают мало, редко кто позабавится натянуть силья – кольца-сплетки из конского волоса.

Ратибор заметил, как стрепетка уводит с его дороги пестрый выводок, как юркие стрепетята, вытянув шейки, дробно топчут за маткой в травяной чаще. Мелькнули – и нет их. «Стать бы птицей на недолгое время», – думал Ратибор.

Стрепетята были еще почти голы. Длинные шейки морщились чешуей пеньков будущих перьев, только на концах крыльев уже торчали настоящие перья. Ратибор тоже был почти гол, в одних коротких, едва доходивших до колен, штанах. В поясе штаны стягивал сыродубленный ремень, к ремню была подвязана кожаная же сумка-зень.

Тело Ратибора закалили ветер и дождь, летний жар и зимний холод. От этого белая в детстве, молочная кожа сделалась цветом, как земляная. На темном лице светились серые русские глаза. Черноватую смуглость рук, ног, груди и спины пересекали белесые шрамы – следы неслучайных царапин шипами и сучками, следы падений.

Не станешь ни силен, ни ловок, коль будешь трусливо беречься. И биться не научишься. На плече Ратибора есть борозда от меча, на ключице – бугор от сросшейся кости. Метки воинской науки. Нет лучшего украшения для мужчины. Бронзовые, серебряные, золотые браслеты и ожерелья не стоят рубца.

В сизом от жары небе чуть заметно шевелились пухово-курчавые барашки. Солнце закроется дымкой и опять слепит блеском и жжет землю. В неподвижном воздухе сквозь сладкую завесу запаха клубники остро и жгуче тянуло гадючьим луком. Тонкое обоняние Ратибора могло бы найти зеленую горькую стрелку и за три сотни шагов. Мутная прелость раздавленной локтем сочной листвы солнцегляда казалась похожей на аромат увядшего ландыша. Горьковатая струйка горицвета напомнила Ратибору мать Анею, сведущую в силах трав и в могуществе тайных слов-наговоров.

Горицвет любит лесные опушки. Запах горицвета сказал Ратибору, что он приближается к цели.

Вот и низенький кустарничек-травка, покрытый жесткими фиолетовыми цветочками. Это барвинок-могильница. Вот пряная посечная трава. По их запаху Ратибор нашел бы лес и с выколотыми глазами.

Он переполз-перетек через поваленный корневым червем ствол осокоря, трухлявый и голый. Его толстую мелкозернистую кору слобожане ободрали на неводные поплавки.

По-звериному перебежав полянку, Ратибор скользнул в кусты густой лещины и замер, удерживая дыхание: явственно, сильно потянуло живым человеком!

Ратибор заметил подошву сапога: человек не сидел, а лежал. По сапогу Ратибор узнал Всеслава, слободского воеводу, понял, что Всеслав, сморенный жаром и скукой, спал в холодке.

Как видно, не только тревога, но и покой передаются от человека к человеку без слов, без звуков, одной силой немого общения. Ратибор, на миг зажмурившись, услышал мирное гудение диких пчел, трескучий стук кузнечиков, гукание нежных горлинок.

Сбросив чары, Ратибор крепкими зубами откусил ореховую ветку и, едва касаясь земли голыми ступнями, подошел к Всеславу. Всеслав спал, прикрыв глаза широкой ладонью. На волосатой руке, утопив длинный нос, трудился кроваво раздувшийся комар. Глубокое дыхание спящего пушисто приподнимало густые усы.

Точным и мягким движением Ратибор заложил ветку за ослабевшую подпояску воеводы. Забыл Ратибор, что души спящих людей бродят во снах вокруг тела и все видят своими глазами, пусть телесные очи и смежила усталость. Видно, он задел тонкую нить, соединяющую спящее тело Всеслава с душой, и та, вздохнув, вернулась, чтобы оберечь тело. Воевода открыл глаза.

Испытывая воинское искусство Ратибора, Всеслав вместе с другими сторожил дорогу на Рось, а молодой, возмня о себе, вздумал посмеяться над старшим.

Сердце Ратибора облилось горечью на себя за глупый поступок. И – неразумной яростью. Не смирай его привычка к повиновению – он мог бы выместить свою оплошность на Всеславе. Воевода, привыкший безраздельно властвовать над воинами-слобожанами, умел читать на лицах людей. Сорокалетний мужчина вскочил, как юноша, и, притянув к себе Ратибора, шепнул:

– Иди... не видал я тебя.

Дубовая роща на левом берегу Роси невелика. У старого дуба, носившего обличье Сва-рога, всего сотен до пяти родовичей. Могучи дубы. Глянешь вверх, и кажется, что корявые ветви деревьев лезут в самое небо. Ратибор пробирался не напрямик, а сторонами, где был погуще подлесок.

Ближе к берегу Роси дубы сменились осокорями. Листва их казалась серой после глубокой зелени дубняка.

На влажной земле, недалеко от воды, Ратибор столкнулся с черной охотницей за мышатами и лягушатами, с гадюкой-козулей. Сломить ее хрупкую спину было б легко, да не время, не место.

Ратибор медленно-медленно оттянул руку, которой едва не коснулся изготовившейся ужалить злой головки, и оба замерли.

«Если ты не испугаешься, испугаются тебя», – учила сына мать Анея. Тихонько присвистывая, Ратибор глядел в холодные глазки, нашептывал в мальчишестве заученное от матери змеиное заклятье-зарок.

Он сказал змее, что не хочет ей зла и с родом ее ничего не делит.

Лучше ей будет уйти с человечесьей дороги, лучше пусть поищет добычу по силе.

Много добычи в подземных гнездах, много добычи в старых дуплах. Так ползи же, ползи, ползи, спеши, спеши, спеши, спеши...

Свистящий шепот человеческого голоса успокоил змею. Она отвела прочь голову и, струясь острозубчатой выпестриной толстой спины, потекла в сторону.

Высокие лапчатые орлецы, точащие тяжелый запах пыльной прели, расступились перед Ратибором. С резных буро-зеленых листьев взмыли серые стаи комаров и мелкой гнуси. За хрупкими стеблями орлецов выстроилась жесткая стенка речного тростника. Извиваясь, Ратибор бережно втиснулся в гремучий палочник. Гнусь-мошкара живой пылью осела на спине, груди, лице, лепилась в глаза, в ноздри, в рот. Ратибор не отмахивался, будто деревянный. Он привык. Шли самые трудные минуты – только бы не выдать себя! Забравшись поглубже в воду, он присел на сплетенье подводных корней тростника, оставив на съеденье голову назойливой мошкаре.

Со дна, мутя воду, поднимались клубы потревоженного ила. Хищные пиявки, учуяв живое тело, невидимо сжимали и разжимали плоские черно-серые лопасти своих тел.

Ратибор думал о великодушном Всеславе. По милости воеводы Ратибору оставалось одолеть последнее испытание, дабы быть признанным взрослым воином, дабы сделаться полноправным слобожанином. Но не так просто незамеченным переплыть открытую реку. «Здесь будет напрямик четыреста пядей, да снесет быстрым течением тысячи на полторы», – считал Ратибор.

Поискав глазами, он нашел длинную тростинку, толстую и сухую. Из кожаной сумки ощупью достал кусок сломанного ножа. Остаток клинка был тонко и остро заточен. Им Ратибор брил первые волосы на бороде. Срезав тростинку, Ратибор расколлот коленчатые узлы, выскреб белые перегородки. Нашелся в сумке и кусок черной смолы. Ратибор затер расколы, а потом стянул их ниткой. Получилась трубка в два локтя длиной, чтоб дышать под водой. Ноздри и уши пловец заткнул желтым воском.

Десятка четыре слобожан, из которых многие еще более сметливы и ловки, чем Ратибор, повсюду ищут его, везде стерегут испытуемого, чтобы поймать или хоть попятнать издали тупыми стрелами. Ратибор пробирался глубже и глубже, щупая дно ногами. Вот и то, что он искал. Придерживая тростинку за конец губами, он скрылся под водой и обеими руками поднял камень величиной с коровью голову. Обвязав груз тонкой веревкой, Ратибор устроил петлю для руки.

Вливаясь в широкое устье заводи, река вначале кружилась, потом успокаивалась, приласкавшись к нежности пахучих белых лилий-купальниц и сладких желтых кувшинок.

Летняя вода была тепла, мягкий ил, заплетенный корнями и стеблями плавучих растений, чуть засасывал ноги.

Ратибору казалось, что он ощущает легкие-легкие толчки: заводь, как и река, была изобильна рыбой. Пузатые лягушки ныряли и, перевернувшись в глубине, всплывали острыми носами к человеку, пуча на него глупые глаза. Здесь были, Ратибор знал, и другие владе-

тели вод. Где-нибудь в глубоком бучиле-омуте дремал водяной, прячась от дневного света. А русалки и сейчас, наверное, любопытно подсматривали за человеком.

Русалочья сила нарастает с луной, с луной же и упадает. Водяные чаровницы хитры и проказливы. В полнолунные ночи они могут своей игрой завлечь человека, закружить в хороде и утащить на дно.

Держа над водой голову, Ратибор пробирался кромкой тростников – голова пловца видна на реке, как ночью огонь на поляне. Пора и на чистую воду. Он знал, что здесь река неглубокая, но в каменистом дне есть ямы-бочаги, там не поможет и трубка.

Несколько раз Ратибор глубоко вздохнул, приучая грудь. Потом, набрав воздуха, погрузился. Камень побеждал стремление воды выбросить тело человека. От камышей в реку уходила иловатая, но твердая ракушечная отмель. Начавшись пологой ступенью, подводный выступ круто обрывался вглубь. Сопrotивляясь усиливающемуся течению, пловец шел, закидывая голову. Сквозь мутноватую толщу воды поверхность реки блестела, как липкая пленка. Конец тростинки высунулся. Грудь давило. Ратибор сильно выдохнул перегоревший воздух и глубоко вдохнул.

Река струилась, увлекала. Ратибор цеплялся ногами за дно. Смотреть он мог только вверх, чтобы конец тростинки не поднялся слишком высоко или не ушел под воду. Понемногу тело привыкало – ведь он повторял не однажды проделанную воинскую игру. Разрезая течение левым плечом, Ратибор и шел и плыл в быстрой Роси.

Вдруг – он едва успел остановить вдох – камень увлек его в донную яму. Здесь вода была совсем холодной и казалась совсем неподвижной. Ратибор, присев, сильно оттолкнулся в сторону левого берега. Самое главное – не терять направления. В реке путь указывало само течение. В донной яме он мог заблудиться. Не чувствуя боли, Ратибор скользил по слизистым скалам. Взлетал, опускался. Еще усилие и еще. Скорее бы!

Прыжок – и теплая вода, схватив, потащила пловца. Только самый конец тростниковой трубки встал над водой. Ратибор сумел продуть длинное горло и вдохнуть свежего воздуха.

Начинало мелеть. Надвигалась тень крутого, поросшего ивой берега. Кусты нависали над водой. Весенняя Рось топила их и, отходя, оставляла в развилках ветвей быльня травы, ломаный камыш и грязь, принесенные из верховых пойм и займищ.

Рядом так сильно плеснуло, будто человек прыгнул в воду. Ратибор остановился. Нет, это хищный шереспер гнался за плоским и жирным лещом, широко расхотились круги на воде. У самого берега, в прозрачной, затененной воде, неподвижно стояла против течения щука, держась незаметными движениями сильных перьев. И вдруг исчезла, как от заклятья. Ей на смену появился острорылый осетр. На этой рыбине от жабер до хвостового пера мог улечься взрослый мужчина. Из Роси никто не в силах выбрать рыбу, с озер и болот – водяную птицу, из лесов и из степи – зверя, из дупел – медовых бортей. Даже ленивый будет сыт в богатой земле россичей.

Под пологом ивняка Ратибор незаметно выполз на берег и, поднявшись на кручу, выпрямился во весь рост.

Здесь, на чистом от деревьев месте, стоял врытый в землю безымянный бог, былая надежда и хранитель неведомого россичам древнего племени. Был он громаден, в три человеческих роста. Вырубленный из твердого росского песчаника, тощий, со сросшимися ногами, бог сложил на вислом брюхе руки и безглазо смотрел на восток.

Мертвый бог... Но по обычаю Ратибор обошел исполина, избегая наступить на длинную тень. Недостойно россича взять чужое, нельзя поднять потерянную или забытую кем-то вещь. Бесчестно позавидовать силе, ловкости или умению другого. И дурное дело – потревожить сонный покой пусть и чужого, пусть никому не нужного бога забытых племен.

Ратибора заметили. Где-то завыл рог, второй рог сдвоил, отозвались третий, четвертый, пятый. На правом берегу Роси там и сям показались слобожане. Стрелки входили в текущую

воду и переплывали реку, держа повыше луки и колчаны. Косые лучи солнца делали необычайно красивыми лубяные и кожаные колчаны, искусно раскрашенные кровяно-красным и желтым цветами.

Из узкого затона выскочил челн. В нем поместились человек двадцать. Одни сидели, другие длинными шестами-тычками сильно гнали челн поперек реки. Росские слобожане собирались к своему месту.

Как в переделом, истонченном летами куске льняной ткани едва сохраняется след рисунка, так жило ветхое предание о холме, на котором теперь стоял град-слобода русского племени, или россичей, как они сами себя называли.

Был этот холм насыпан не то двенадцать, не то четырнадцать поколений назад. Весеню до трехсот минуло с того времени. Тогда гунны впервые явились в степи, на полдень от Рось-реки на берег Теплого моря. Добрались гунны и на Рось. Холм-могилище был насыпан для погребения россичей, перебитых на побоище с гуннами. Из прежнего рода выжили семь братьев-богатырей, каких ныне женщины не рожают. На всем поле они остались одни, как редкие колосья на ниве, выбитой градом. Все остальные погибли, и все гуннское войско легло. Семь братьев и послужили корнем для нынешних россичей.

Могилище-крепость была окопана сухим рвом. Частокол из заостренных бревен, черных от смолы, сберегавшей дерево, закрывал от глаз внутренность слободы, маячила одна хрупкая на вид сторожевая вышка.

По узкой доске Ратибор перебежал через ров и взобрался вверх по лестничному шесту – тонкому бревну со врезанными перекладами.

Высокий снаружи, изнутри частокол казался низким – кругом была подсыпана земля. Ход для стрелков внутри тына прикрывался навесом из толстого корья. Навесными плашками защищались проделанные в частоколе частые бойницы, узкие и высокие. Шесть длинных и низких изб – стена по плечо – были крыты на два ската снопами из камыша, густо смазанными глиной. Стояли избы полумесяцем, следуя округлости частокола. Ни одного ростка травы не пробивалось на утопанной ногами земле двора. В середине торчал колодезный сруб. Глубокая дудка врезалась локтей на шестьдесят, чтобы добраться до водоносной земной жилы. Землекопы, наверное, потревожили прах прародичей, когда рыли колодец. Но кто, как не слобожане, навсегда сохранит могилу от поругания чужими.

Четыре прямых осокоревых бревна, как четыре ноги, держали сторожевую вышку. По шестовой лестнице, врытой между столбами, Ратибор белкой взлетел наверх, скользнул в дыру помоста, головой откинув крышку, похожую на погребное творило. Пол, сплетенный из нескольких рядов ивовых ветвей, был окружен таким же плетеным заплотом, достаточно прочным, чтобы защитить от стрелы. Пол промазывали глиной и устилали дернинами – от пожара. Под бычьей шкурой хранилась тонкая липовая щепка для сигнального дыма. Тут же был запас свежей травы и корчага с водой. Торчком стояли шесты с готовыми смолеными снопами, чтобы в случае нужды дать огненные знаки тревоги.

Верх плетеного заплота приходился Ратибору по плечи. Отсюда глаз человека хватал широко, как глаз птицы с вершины высокого дерева. Град-слобода россичей был поставлен на кону полуденного края родовой земли. Отсюда Рось-реку видно на три стороны: на восход, на полудень и на закат – здесь речной локоть. Своим локтем Рось вдавалась в полуденные степи.

Правобережье Роси Ратибор, как и все, привык звать степью. Однако на той стороне было немало лесов: в балках рек, речек и ручьев грудились деревья, защищая свои корни непролазным подлеском. Даже с вышки казалось, что заросские леса, сливаясь, подпирают край неба сплошной стеной, без прохода и без просвета.

Но нет лесной защиты за Росью. Обманывает и собственный глаз. Между рощами, опушками дубрав, по гривам, разделяющим Ингул и Ингулец, а левее – между Днепром и Ингуль-

цом дальняя степь тянется к Роси свободными пустошами, доходит до нее извилистыми языками. На тех пустошах и языках даже травы растут иные, чем на лесных полянах. Это – степные дороги. По ним козы и степные олени прибегают испить росской воды. Там туры пасут своих серо-голубых коров. И чем дальше от Рось-реки, тем степи становятся шире. Пройди два дня – и деревья уже не закроют полудень, а потом леса и совсем разбегутся, уступив черную землю степным травам. Там широко для взгляда, для скачки, и ветер свистит в ушах всадника поиному, и пахнет иначе. Там беспредельность. Раздолье!

Злое раздолье... Оттуда тайно пробирается враг, зачастую совсем безымянный, тщась нахватать оплошных людей славянского языка, тайком пройти через Рось-реку, ограбить грады. Приходят и открыто целым войском, чтобы убить мужчин, взять имущество, а женщин, детей, девушек и юношей угнать для продажи на рабских торговищах в ромейские города, на берега Теплого моря.

Крепко слобода на Рось-реке бережет кон-границу славянского языка. Слободскими людьми правит воевода. У него над воинами-слободжанами власть бóльшая даже, чем у старших родов над родовичами, хоть и зовут тех князь-старшинами.

Слово «князь» древнейшее, значит оно – хранитель очага-огня, где живет начало Сва-рога-Дажьбога. С детства россич привыкает думать о себе как о передовом, а о других людях славянского языка – как о задних. У задних слободы малочисленные, оружие они меньше любят. Все славянские племена сидят среди людей своего языка. Россичи же – пограничные. У них свои сзади да по бокам. Впереди же – степь чужая.

Ратибор взглянул на север. Лес и лес... Все в лесах прячется: и родовые грады, и взодранные пашни на полянах, и усадьбы ушедших из родов на вольную жизнь извергов.

И леса с засеками – крепости, и грады за частоколами да рвами – крепости. Главная же крепость – воинское умение росских мужчин, главная оборона – слобода.

2

Вечерняя заря давно догорела в безоблачной выси. Свод небес из голубого сделался синим, синее стало чернеть; обильно зажглись звезды. Глядя на мерцающие огни и цвет неба, Ратибор знал без ошибки, что ночь течет к концу первой четверти. Движение времени определялось перемещением светил, эта наука сама собой постигалась россичами – через собственное движение. В жизни все движется.

На крыше избы, где жил воевода Всеслав, стоял невысокий заостренный столб. В солнечные дни движение тени по внутренней части частокола позволяло судить о времени, оставшемся до конца сияния солнца. Подобно эллинскому гномону, столб в слободе был бессилен в пасмурные дни и ночью. Но и без него каждый знал, что можно сделать ночью до света, днем – до наступления тьмы.

Этой ночью Ратибор берег сон слободы. И справа, и слева, и сзади могут вспыхнуть тревожные огни. Всюду могут проникнуть чужие. Где бы их ни заметили – зажгут костер или факел.

А впереди, в заросской стороне, тысячах в сорока шагов таится передовой дозор росской слободы. Место зовется Турым урочищем. Кто пойдет из степей, тот не минует урочища.

Вышка дрогнула, заскрипели поперечины шестовой лестницы. По запаху избяного тепла, которое нес человек, Ратибор узнал, кто идет, и, прежде чем показалась голова, успел подумать: «Почему-то воеводе не спится?..»

Воевода пришел, как встал с постели, в одних широких холщовых штанах, босой, не чувствуя ночной прохлады, от которой Ратибор укрывался козым плащом.

– Ничего не видел? – тихим голосом спросил Всеслав.

– Нет, – ответил Ратибор.

– А мне смутно на душе, – объяснил воевода.

Подчиняясь глухому покою ночи, они таили голоса. Но ведь было же что-то тревожное в этом покое, если сам воевода сказал.

Недоверчивый и чуткий, Всеслав держал слободу в напряжении. В слободе ныне жило почти пять десятков настоящих воинов, обученных ратному делу. Подобно Ратибору, они все прошли воинские испытания. Тот, кто умеет быть невидимым, нанесет первый удар. Весной волк уходит от человека по траве, не достигающей колена охотника. И ни одна травинка не дрогнет там, где ползет лукавый зверь. Белка распластается на ветке, кабан бесшумно пройдет камыши. Даже тур умеет скрыть в кустарнике свою могучую тушу. Воин должен быть ловче и хитрее зверя.

Кроме воинов, в слободе жили тридцать подростков, от двенадцати лет и до почти зрелых парней, уже скобящих первый пух бороды. Князь-старшины родов не соглашались держать в слободе больше народу, отрывать много рук от земли и ремесел. Все мужчины в славянских родах умели владеть оружием, слободы же лежали тяжелым грузом на родовых хозяйствах. Верно, что слободские сами кормили себя мясом от охоты на зверя, сами выделывали шкуры, шили из них зимнюю одежду. Но хлеб, ткани, масло, овощи, посуду, обиходные мелочи поставляло племя.

Говорили, что в древние времена не было слобод среди живущих на лесных полянах славянских племен. Слободы, где свободные от тягот повседневности избранные воины всегда готовы были сражаться и где каждый подросток должен был обучиться трудному искусству боя, появились позже. Не знали, кто первый додумался до такого обычая. Горечь быть битым научила славян держать в кулаке пусть малую, зато надежную кучку воинов, сидящих в крепком месте.

У человека две руки, в семье муж и жена, свет борется с тьмой – каждое дело имеет две стороны, а в хорошем сидит и плохое, из согласия может выйти раздор. Нужна слобода, кто скажет против нее слово! Но всегда спорят слободские воеводы с родовыми князь-старшинами. Старшины тянут свое: поучил делу и верни поскорее парня в род. Воеводы же стараются так приохотить молодых к воинскому делу, чтобы те навек оседали в слободе. И так плохо, и так нехорошо... Но семья должна быть у каждого, женят зрелого парня поскорее, в слободе он живет или дома. Нельзя мужчине, нельзя женщине оставаться бесплодными.

Стояли Всеслав с Ратибором на вышке, слушали, смотрели – нет ничего в темном владении ночи. «Что беспокоит воеводу?» – думал Ратибор. Вспоминалось, что нынче вечером один из русских князь-старшин, лукавый ведун Колот, друг Всеслава, пожаловал в слободу. Колот – частый гость. Будто бы Колот бродил в заросских местах... Всеслав прервал мысли Ратибора. Беспокойный воевода решил: быть ночному поиску.

Тихо, но пронзительно позвал рог: «Ту-у... ту-уу... ту-ту!» Из низких дверей споро посыпались слобожане. После кромешного мрака избы во дворе казалось светло. Полуошупью завязывали ремни обуви, обкручивая голень до колена. Осматривали оружие – каждый был приучен держать свое всегда в одном месте – на деревянных гвоздях, часто вбитых в стенах изб. Негромко окликались и, разбившись на свои десятки, строились во дворе, ожидая приказа. Услышав – заторопились. Одни спускались наружу по лестнице. Другие, перекинув с верха частокола на край сухого рва длинные шесты, скользили, охватив гладкое дерево руками и ногами. В слободе остались подростки и с ними пяток старших.

Глубокий покой ночи нарушился топотом ног, обутых в толстую мягкую кожу: слобожане бежали к реке. Всеслав с подручными сдерживал чрезмерно спешивших, задавая быстроту бега. Во тьме безлунной ночи плотная куча воинов казалась странным чудищем, рогатошестинным острыми копьями.

Против слободы летний спад вод приоткрывал брод вдоль гребней сточенных водой скал речного порога. Воины приблизились к броду. Там Всеслав приказал десятку молодых брать коней и догонять пеших по пути к Турьему урочищу.

Днем очередные пастухи из слобожан с помощью подростков пасли табун подалее от слободы, сберегая на ночь траву в речных поймах. С темнотой табунщики гнали лошадей ближе к слободе. Не просто ночью подойти к коням, хоть и обьезженным, но привычным к свободному выпасу на подножных кормах. Ночью конь сторожко-пуглив. Издали Ратибор рогом позвал табунщиков. Не спеша, с тихими ласковыми возгласами, слобожане отбили четыре десятка лошадей. Их охаживали, хлопывали ладонями по крепким шеям, ласково приговаривая привычные слова – прими да пусти! – совали железо в строптивные рты и забрасывали за уши оголовные ремни. Каждый взял по три заводных коня.

До брода бежать – терять время. Пешие давно переправились и ушли далеко. Двое табунщиков проводили воинов к челну. Туда положили оружие, чтобы не подмочить. Ратибор принудил своих коней войти в воду. За ним сами, без понуканий, пошли остальные кони. Черная Рось вспенилась. Приученные к переправам кони плыли без натуги, вольно положив голову на воду. Облегчая животных, всадники сползли с их спин и, держась за лошадиные холки, плыли с той стороны, куда относит течение, чтобы не затянуло под лошадиное брюхо.

На берегу кони, отряхиваясь, фыркали, предвещая удачу. Натянув поводья, всадники ждали условного знака от пеших. Послышался дальний крик совы: «К-оо!..» Не время еще кричать совам осенним голосом. А когда придет их время – будет другой голос и у слобожан. Ратибор отсчитал про себя – один, второй, третий. Вместе с медленным счетом на четыре уха приняло второй совиный крик. Пора!

Опушкой дубравы, откуда в степь смотрел образ Сварога, конники поднялись вскачь. Ратибор сидел без седла, каменно сжав колени, на гнедом. Ему Всеслав поручил быть старшим в десятке.

Отпустив поводья, слобожане скакали за головным, скользя на спинах коней в такт скачке – вперед-назад, вперед-назад. По коленям хлестала трава.

Как везде и всегда, будто сросшееся с телом оружие мчится вместе со слобожанами. Справа, за плечом, колчан с тремя десятками стрел. К седлу приторочен лук в налучье, с запасными тетивами. Слева меч, или секира, или длинная сабля. Справа, в рост высокого мужчины, – дрот-копье с железным наконечником. Грудь сжимает перекрест ремней-перевязей меча и колчана. Привычная ноша для слобожанина так же легка и незаметна, как для женщины рубаха, подпоясанная цветной лентой, и душегрейка, вязанная из шерстяной нити.

Пешие успели далеко опередить конных. Они шли широко, по-слободски. За таким шагом лошадь поспеивает лишь рысью. В дни, когда свет равен ночи, воины могут от зари до зари пройти восемьдесят верст.

Верстах в трех от переправы Всеслав оставил махального, чтобы тот криком совы звал конных. Ратибор подобрал товарища, подобрал и второго. Лишь после третьего махального всадники догнали пеших.

Спешила ночь; звезды, поворачиваясь в небесной тверди, говорили о вечном течении неукротимого времени, в котором каждый стремится к совершению задуманного.

Близится и Турье урочище. Еще и еще поворот. Здесь последние изгибы степной дороги, которыми она, выйдя с дальнего юга, врезается в приросские дубравы. Перед конными вынырнул человек с простертыми вверх руками невиданной длины – с копьем и мечом.

На Турьем урочище постоянный дозор – шесть или семь слобожан. Встречный всадник спешил в слободу посыльным.

Вести важные. Вечером, когда угасала заря, будто сделались заметны конники, идущие с юга. Мало было света, не было уверенности, не туры ли это или дикие лошади-тарпаны.

Старший дозора послал двоих разведать. Еще не вернулись те двое, когда с вершины высокого вяза, служившего дозору сторожевой вышкой, сам старший заметил блеск пламени там, где начинается Сладкий ручей.

Люди в степи... Степь не посылала ничего доброго к Рось-реке. Ромеи приплывали весной, по большой воде, по Днепру для торгова, в Рось же никогда не заходили.

Вещим оказался воевода. Вещим зовут человека, умеющего добавить к рассуждениям разума светлое проникновение духа, способного зреть издали не видимое обычным глазом и особенным чувством провидеть будущее.

Будут слобожане помнить эту ночь, все призадумаются над чудесным даром своего воеводы.

Пройдет день тревоги, пройдут лета молодости и силы. Кто доживет до старости, кто донесет до нее память и ум, тот вспомнит прошлое и оценит его.

Вот и край Турьего урочища. Мрак погустел. Опушка последней дубравы кажется берегом пустой степи.

Дозорные жили в хитро запрятанных норах с двойными и тройными выходами, как у лисиц. Вернулись разведчики, посланные старшим дозорным. У Сладкого ночуют люди. Кони пасутся по балке ручья, стреноженные, как на походе в чужом месте. Сколько пришлых? Коней много, – должно быть, там и выючные, и заводные. Судя по табуну – людей будет не менее сотни.

3

Последняя четверть ночи близится к концу, так же как было в несчетные утекшие ночи, как будет для неисчислимых дней грядущих из вечности лет. Мир, как дерево весенним соком, наполняется предчувствием солнца. Сторожевой воин, опираясь на постылое копье, хочет увидеть синеву, сменяющую глубокую черноту неба. Память человека, привыкшего наблюдать движение звезд, вскоре поможет ему назвать алыми, зелеными и иными неопишутые краски рассвета.

День близок. Ночной зверь сокращает причудливые, но рассчитанные петли поиска, подчиненные запаху следов живой пищи-добычи. Пора ночным добытчикам выбрать место для последней засады. Удачна или неудачна была охота, а придется залечь на долгую, сонную и чуткую дневку.

Четвероногий дневной зверь пробуждается томлением голодного брюха. А человеку в этот краткий предрассветный час спится крепче, слаще всей ночи. Россичи знают, что неспроста человеку хорошо спится под утро: темные силы, злые духи, подобно предусмотрительным ночным хищникам, спешат оставить поприща, открытые для готового явиться на востоке всепобеждающего света. Колдуны, вселяющиеся на ночь в тело волка, лисы, ласки или совы, потешившись ночным разбоем, уже возвращают свою душу человеческому телу, которое мирно лежало всю ночь. Вся нечисть, все оборотни в шкурах и перьях копятся в предутренних туманах, тянутся в глухие лесные чащобы и к входам в пещеры. Злое отступает в страхе перед светом, но медленно, чтобы не терять последнего мига быстротечной вольности: летняя ночь коротка.

Подобно оборотням, волчья семья шла за летучим загоном хазаров. По воле матки-волчицы сам матерой и трое прибылых, которые обещали в росте к зиме догнать стариков, привязались к людям вблизи от крутого берега Днепра. Опередив другие волчьи пары, старуха пометала щенят в пещере на западном берегу великой реки, с помощью самца выходила выводок. Пришло время оставить логовище, засоренное птичьими, заячьими и козьими костями. Волчица была любопытна. Когда-то отбившаяся в боевой сумятице сука той породы собак, которые вдвоем могли взять в лесу медведя, а в степи не боялись тура, одичала и вернулась к своим братьям-волкам. Прародительница оставила дальнему потомству лукавое стремление к

сомнительной близости с человеком. День за днем волчица вела своих по горячим следам, зная, что будет пожива. Посещая каждый оставленный хазарами привал, волки находили обильную снесь. Они раскусывали мозговые кости, обжирались недоеденным мясом, внутренностями жеребят и молодых лошадей: как всегда, хазары гнали свое продовольствие на ногах.

Днем волки были осторожны, ночью нагло лезли к хазарским станам. Зверей толкала жадность, возбуждал сочный запах коня, волновало ржанье молодняка, гонимого для убоя. Смелея, волки пугали коней воем, дерзко подползая в надежде отбить глупого жеребенка от табуна, погнать в степь и потешиться на воле. Этой ночью волчья семья обнаглела, и под утро табун перестал пастись. Закрыв собой жеребят и кобыл, жеребцы с гневным храпом образовали кольцо. Пять или шесть сторожевых хазаров спали в седлах. Кочевники, они привыкли дремать на коне. Конь сам переступает, не отставая от стада или табуна. Если что случится, лошади разбудят. Хазары доверяли своим коням. Степная лошадь умеет не только бить вслепую задними ногами, но и нанести сверху вниз острым копытом передней ноги смертельный удар и зверю, и чужому человеку.

И табун, и волки, и дремлющие погонщики неприметно перемещались вниз по долине Сладкого ручья. Расстояние между ними и стоянкой хазаров увеличивалось. Ратибор и пяток слобожан из его десятка прокрадывались в этот разрыв.

Ночная птица видела слобожан, зверь – слышал. А для человека, в степи ли он родился, в лесах или в горах, не было и тени. Горька воинская наука, но плод ее дороже золота – в нем жизнь племени. Беда хазарам, быть им без коней.

Одни волки видели и чуяли чужих людей. К запаху хазаров звери привыкли. Осторожность пришельцев, вероятно, казалась волкам робостью. Они уступали поле слобожанам нехотя, шаг за шагом. Острое обоняние Ратибора ощущало смрад волчьей пасти, тяжелый запах волчьего тела.

Успокоительно переговаривались дальние совы. Если подражать крику совы, направляя голос вниз и в сторону, он кажется пришедшим издалека.

Хазары спали не тесно, но и не вразброс. Вот шкура или кусок толстой ткани из шерстяной пряжи, виден конец остроносого сапога из мягкой кожи, голова сползла с высокого седла, служившего подушкой. В редяющей темноте спящие казались кучами меха и тряпья. Рядом – копьё, воткнутое в землю концом древка, расписной колчан, короткий, сильно изогнутый лук, кривая сабля с рукояткой, сплющенной поперек клинка.

Края балки стояли над спящими, подобно невысоким стенкам, создавая ощущение замкнутости и покоя. Несколько закопченных котлов ждали там и сям на таганах кованого железа, засыпанных пеплом прогоревших костров. От обильного ужина оставалось вареное мясо, чтобы утром проглотить кусок на ходу, перед седловкой.

Ратибор завыл по-волчьи. Подражая зверю, человек начал низкими нотами и закончил, как зверь, – пронзительным «аааа»... Он сам себе казался волком. Завыли и товарищи. Ухо людей не могло бы распознать обман. Лошадей труднее провести. И все-таки под дремлющими табунщиками кони дрогнули, а сам табун взволнованно прынул и пустился вниз по долинке ручья. Пользуясь случаем, настоящие волки отбили наконец-то потерявшегося от страха двухлетка и погнали добычу в степь. Очнувшиеся табунщики поскакали, чтобы повернуть лошадей к привалу. На восходе заметно бледнело.

Ни один из хазаров не успел ни сменить плеть на саблю, ни перекинуть щит со спины на грудь. Волки обернулись людьми, вместо воя звякали тетивы. Битый тяжелой стрелой навывлет, мертвый хазарин молча запрокинулся в седле. Смерть на рассвете такова же, как в полдень. Не помогает степняку привычка вовремя сбросить со ступни глубокое стремя. Обезумевшие кони волочат по степи тела, и мертвые всадники будут скакать, пока не вырвется из сапога нога или пока не остановится сам конь, не понимая, что так тяжело тянет седло в сторону.

Из табунщиков только один увернулся было от стрелков, внезапно вставших между табунном и сторожами. Вздвигнув коня, он повернул его в воздухе на задних ногах, будто оба они были одним телом. И уже опускался, готовясь растянуться в бешеной скачке. Аркан лег на шею хазарина, вырвал, бросил на землю. Он не успел очнуться, оглушенный падением. Все равно, коль и очнулся бы. Набежавший слобожанин рубанул концом меча шею хазарина.

Ратибор победил табунщиков. Не тот час шел, чтобы считать добычу или гордиться успехом.

Слобожане ловили для себя коней. Заарканенный конь отступал, храпя. Обманув, сзади на лошадиную спину прыгал россич. Сдавленный ногами, конь вскидывался. И, оглушенный тяжким ударом кулака между ушей, смирившись, падал на четыре ноги.

Светало все заметнее. Успокоившийся табун пасся далеко от хазаров. Ратибор послал двоих отогнать лошадей еще дальше. От головы балки еще не доносилось ни звука. Совы молчали.

Рожденный в степи не любит леса, остерегается чащи. Лесная дебрь принадлежит лесным людям. Кто привык с ровного места озирать округу верст на двадцать, а с холма – на все пятьдесят, вольно-невольно, а преувеличивает опасности леса. Он ценит красоты оголенной земли, лес для него – безобразное скопление деревьев. Для степняка в лесу нет примет, нет дороги. Есть реки, но степняк не поместится в лодке вместе с лошастью.

В степи много примет и много дорог. Степняки ходят считанными перегонами, ночью по звездам, днем по солнцу. Они знают, откуда дуют ветры и какие следы ветры оставляют на песках, куда и откуда течет вода, на что похожи очертанья возвышенных мест. И не приметями ли дорог сделались оставленные забытым народом каменные боги? Если изменит память – поможет выделанная до тонкости древесного листа полупрозрачная баранья кожа. На ней приметы нанесены несмываемой черной краской из железной окалины.

Хазарский загон не знал дорогу на Рось, но у них был проводник. Он побывал на Рось-реке лет двадцать тому назад. Память, не обремененная излишним знанием, хранит нужное навсегда. Проводник вел загон так, будто месяцы прошли, а не годы.

Верхушки далеких роц кажутся, если смотреть из степи, стадами, замершими под солнечным зноем. Явившись на границе степей, они напоминают о близости цели. Как горы, леса защищают иную жизнь. Лесные дебри давят на вольную степь, подобно каменной стене. И так же, как стена, лес охраняет чье-то богатство.

Проводник указывал привалы. Он привел и к этой балке с ручьем особенно вкусной воды. На юге не часта хорошая вода. Степняк умеет довольствоваться горькими и солеными водами. Чем дальше к северу, тем слаще источники.

В загоне шло более девяти десятков бывалых охотников за рабами. В мире много пастбищ, удобных для стад коров, овец и верблюдов. Много диких птиц, диких зверей. Людей – мало. Раб не только ценен, он – необходим.

Во сне хазары любовались крепкими мальчиками и нежными девочками, которые быстро забудут свой народ и речь родителей, видели красивых женщин и сильных мужчин – они будут верно служить господину, у них не будет выбора. И еще над привалом витала мечта о наслаждении властью, пусть кратковременной, зато безграничной властью победителя в час, когда противник сломлен и все позволено сильнейшему. Для одного этого стоит одолеть тяготы дорог и скитаний, стоит рискнуть своей жизнью. Упоение желаний, скованных обычно, никогда не удовлетворенных и вдруг выпущенных на волю, как звери из клеток!

Уже различались очертания вещей, почти можно было видеть краски, когда усыпленное внимание сторожей привала пробудил конский топот. Он доносился откуда-то сзади, с юга, из степи. Ближе и ближе топчут кони. Изошренный слух степняка угадывает табун голов в тридцать-сорок. Топот вдруг прекращается: дикие кони почуяли людей! Опять топчут, при-

ближаются, удаляются. Наверно, дикие кони пришли на обычный водопой и взволнованы препятствием.

День близится, близится. Пора будить товарищей. Дикие кони бегут совсем близко. И вот – появляются всадники.

Не сразу пораженный неожиданностью хазарский сторож сознает обман, постигает хитрость напавших. Запоздалые крики поднимают спящих. Развернувшись полумесяцем, всадники молча сваливаются в балку. Они здесь! Всадник оставляет дротик в поверженном теле.

...Лесные наездники секут твердым уклад-железом мечущихся хазаров. Иные бьют сразу обеими руками: в одной – меч, в другой – секира. Вслед конным спешит десяток пеших слобожан. Им добивать хазаров, которых разбросают, разметут всадники.

На скаку слобожане прочесали привал. Повернули – пешие бьются с опомнившимися хазарами. Мало пеших слобожан, а идут кулаком, колют и рубят разбившихся хазаров. Один хазарин отбежал, зовет. К нему уже собирается кучка. Первые хазарские стрелы змеями свистнули по балке. Тесно, колено к колену, слобожанские всадники прынули в хазарскую кучу, на копья, на визг и особый пугающий лошадей рев хазаров. Сзади ударили и пешие. На крики прискакал Ратибор с десятком молодых.

Сломленные хазары, кто стоял еще на ногах, разбежались, рассыпались. Верные выучке, слобожане не разбрелись, преследуя. Они носились по привалу, убивали и добивали. Хазары не просили пощады. Просили бы – не получили. Нет и не будет пощады между лесом и степью, степью и лесом.

Россичи не держали рабов для хозяйства. Иное дело, попадись пленник весной, перед поездкой на днепровское торжище. Можно бы недолго за ним присмотреть да и положить в челн вместе с другим товаром. Ныне же торжище давно кончилось. На Торг-острове остались одни ямы от шатров, уголье в очагах, сложенных под открытым небом. Там, на утоптанной доплотна земле, поднялся подорожник, в ровиках засохла всякая нечистота после скопления людей.

И бежит, бежит в степь, сам не зная зачем, безоружный уже хазарин. Чтобы лишний раз вздохнуть и продлить уже потерянную жизнь... Стрела взвивается послушной дугой. Приметив место, чтобы взять потом стрелу, слобожанин озирается, ищет недобитых.

Не замеченное никем солнце поднялось высоко. Помощник победителя. Вот колышется трава – там кто-то ползет. Слобожанин скачет. Навстречу прыгает отчаявшийся хазарин, тщетно пытается отбить натиск, в котором вложена мощь и человека и коня...

Тихое утро обещает жаркий день. Безветренный воздух дышит ароматом цветения трав. Но на разбитом хазарском привале смердит кровью, распалившимся человеческим телом. Смутно глядят очи опомнившихся воинов, тошнота подступает к горлу молодых слобожан, впервые испытавших боевое похмелье. Ратибор запнулся о тело, и будто ужалила ногу подколотная змея. Полный непонятных чувств, в смятении мыслей без слов, он ужаснулся чему-то никогда не испытанному. Не жалость, не сомнение – неизъяснимое чувство овладело молодым воином.

А другие спешили обежать балку Сладкого ручья и не скупилась на милостивый удар, чтобы усыпить хазарина, обреченного тяжкими ранами на медленную смерть.

И везде рыскали всадники, вглядываясь в заросли трав, как в поиске потерянного, дорогого.

Не уйти затаившемуся хазарину, не послужить ему в провожатых для другого набега. Велики счета крови между Лесом и Степью, Степью и Лесом.

4

Со злом пришли хазары – нашли зло. Не нарушает справедливости отвечающий хитростью на хитрость, мечом на меч. Кто первый задумал – тот виновник. Не ходить хазарам к Рось-реке, а на Сварожьих внуках нет преступления против извечной правды. Так было, так будет.

Отдав дань душевной тревоге, Ратибор очнулся. Слобожане прилежно возились на взятом привале. Собирали оружие, складывали рядами стрелы к стрелам, луки к лукам. Будто на торгу, лежали кривые и прямые сабли, мечи, одни с узкими, другие с широкими клинками, с загнутыми острожальными концами. Круглые щиты казались черепашьими черепами. Обтянутые жесткой кожей, окованные кольцом по всему краю, щиты были усыпаны выпуклыми железными бляхами, хитро набитыми так, чтобы удар, скользя по одной, затупился бы о другую.

Боевые дубинки-палицы были похожи на цепилки от цепов; на утолщенном конце выпучивались железные или медные граненые яблоки с шипами, на тонком конце был закреплен ременный темляк для запястья. Чеканы-топорики были насажены на полированный рог, отпаренный и выпрямленный, с насечками поперек. Само топорище было, как и русское, двойное: с одной стороны – узкий топор, с другой – загнутый клюв в четверть длины. Железо было череное, чтобы не выдавать владельцев блеском лучей.

Мало взяли доспехов – всего полторы дюжины. Хазарский доспех похож на русский: кожаная рубаха с нашитыми конскими копытами или железными бляхами, длинная, с разрезами, чтобы прикрыть и бедра всадника. Шлемы хазарские круглые, с низкой шишкой на темени. Русские шлемы глубже, на темени не шишка, а острие.

В кучи кидали черные и желтые сапоги, простые и расшитые цветными ремешками и нитками, и крепкие новые, и побитые железным стременем, с голенищами, потертыми стремненным ремнем. Штаны кожаные и из невиданных тканей, пояса длиной по десять локтей, рубахи, плащи... С прорехами от оружия, меченные кровью...

Ночной поход и горячая битва разожгли голод. Кто раньше опомнился, тот успел похватать мясо из хазарских котлов. И вновь служили котлы, в них варилось мясо наспех забитого хазарского жеребенка. Больше трех сотен коней захватили. Богатая добыча!

Семерыми убитыми заплатила слобода за победу. Поранено было до десяти человек – на крепком теле быстро затянутся борозды от мечей. Только один раненый был страшен.

Бой не пощадил самого Всеслава. Мудрый воевода вещим духом узнал о хазарском загоне. В воду ли глядел он, наблюдая, как крутится Рось-река в заветном омуте, гадал ли на шуме листьев и ветра, ловил ли тайну птичьих голосов и соколиного полета? Сам не скажет, спросить никто не осмелится. Малой кровью воевода взял хазаров, победил силой, а себя не оберег.

На исходе боя последняя, быть может, хазарская стрела нашла Всеслава, вонзилась под левым глазом и ушла в голову едва не насквозь, как видно по оставшейся части древка. Так Всеслав и завершил бой – с торчащим перед лицом оперением хазарской стрелы.

Со страхом поглядывали слобожане на своего воеводу. Он приказал, чтобы все занялись делом – собирали бы добычу; с собой велел остаться Круку, своему помощнику, и Ратибору.

Даже из мертвого тела не просто достать стрелу: наконечник может остаться, его приходится вырезать. С живым телом так не поступишь.

Кровь из раны насочилась в усы Всеслава, текла по груди. Свесив руки, стоял Крук, опытный воин из тех, кто всем сердцем принадлежал слободе. Сутулый, но с выпуклой грудью, с толстыми кривыми ногами от езды на конях с детства, Крук был молчалив. Когда говорил, будто каркал по-вороньи. Отсюда и кличка, приставшая к нему и заменившая имя. Ратибор молчал, подражая Круку. Чем мог он помочь?

Держа одной рукой стрелу, другой Всеслав щупал сзади шею; и пальцы и тело чувствовали, что близко к коже сидит наконечник стрелы.

– Дайте, – сказал Всеслав, указывая на высокое хазарское седло.

Он велел Круку крепко держать седло, а сам опустился на колени, вниз лицом, и уперся расщепом стрелы в ямку под лукой седла. Ратибору Всеслав приказал держать расщеп в ямке, чтобы не соскользнул. Взяв обеими руками за затылок, стоя на коленях, Всеслав надавил. Не торопился, не рванул с силой вперед, как, холодея от ужаса, мысленно подсказывал ему Ратибор. Нет. Медленно, медленно Всеслав всаживал в свое тело стрелу. Он дышал глубоко – вдохнет, задержит, выдохнет. Мышцы напряглись, руки поросли узлами, и Ратибору казалось, что волосы воеводы встали дыбом.

Пальцы Ратибора, удерживая конец стрелы в упоре седла, оцепенели, сердце как будто остановилось, а на шее Всеслава, под волосами, появился бугорок, потом нарост заострился.

Желто-черная бабочка, обманутая неподвижностью, опустилась на выгнутую спину Всеслава, сложила крылышки, преобразаясь в древесный лист. Ратибор не видел ее, он глядел, как вылезало туповатое черное жало. Вот прорезались и острые края наконечника. Ратибор едва сказал:

– Вышел, довольно...

– Срезайте железо! – ответил Всеслав. Его голос показался странно живым и спокойным.

Воевода продолжал опираться на седло. Ратибор по-прежнему держал конец стрелы, а Крук толстыми, но ловкими пальцами стрелка и умельца-оружейника, орудуя острым ножом, срезал наконечник: готово!

Всеслав разогнулся. Лицо его было совсем черным, кровь заливала глаза. Они, как показалось Ратибору, сияли красным светом, будто внутри, за зрачками, пылало пламя.

– Ныне держите стрелу спереди! – сказал воевода.

Всеслав стоял на коленях. Ратибор и Крук, уперши локти в седло, взяли за стрелу. Как раз хватило места для четырех ладоней. И так же медленно, как прогонял через себя стрелу, Всеслав потащил ее обратно. Отталкиваясь от седла, он всем телом откидывался назад. Еще натужился, еще – и вдруг в руках Крука и Ратибора осталась стрела. Отныне ей суждено храниться в избе воеводы вместе с мечом и другими заветными вещами, по которым русская слобода помнит своих вождей и знатных воинов.

Встал Всеслав, распрямылся, расправился. С ужасом, стараясь не попадаться на глаза, слобожане поглядывали на своего воеводу. Каждый, примеряя к себе подвиг, пережил, перечувствовал и спросил: «А сам ты мог бы совершить такое?» Ответить нелегко.

От Турьего урочища, растянувшись длинной цепью, скакали верховые. Это слобожане везли мотыги и заступы, чтобы копать хазарскую могилу.

Все люди одного языка, как жившие на Рось-реке, так и самые дальние обитатели запрыпятских болот, все славяне до самого Холодного моря на севере твердо знали, что забота о человеческом теле совершается для устройства души. При жизни душа и тело – одно. Как вода наполняет землю, как влагой полон живой лист дерева, как в кремне таится огонь, извлекаемый ударом твердого железа, так душа живет в теле. Но и после разрушения тела сохраняется тайная связь останков с душой. Сжигается труп на погребальном костре – и очищенная огнем душа легко возносится на небесную твердь. Там мать и отец ждут детей, там друг находит друга, там конец всем разлукам и – свершение каждой мечты.

Покинь тело на добычу птице, зверю, червям – и будет душа неприкаянно скитаться близ мест, где умер человек. За лишение обряда она постарается мстить не одним виновникам смерти тела, но всем людям без различия. Душа человека, тело которого будет брошено в воду, последует за ним, и горе тому, кто, найдя такое тело, не возложит его на костер или не зароет в землю.

Зарытое тело избавляет людей от мести души, но по-иному, чем сожжение. В земле душа остается под гнетом, не вырваться ей ни под живой свет дня, ни под колыбельное мерцание звезд. Как спеленатый младенец, как зверь в тенетах или как раб, навечно прикованный к жернову, так бессильна, неподвижна душа того, чье тело зарыто в земле. По времени подземный холод и мрак разъедают душу, тоска и голод по дневному свету истощают надежды, и она, растворенная, гаснет, как уголь под пеплом, забывает себя, подобно зажившемуся старцу, и замирает навечно в земном покое.

Поэтому враг нигде не воздаст врагу погребения. Поэтому лучше погибнуть в бою, чем умереть рабом и лишиться погребения.

Россичи остерегались просто бросать тела врагов, чтобы бродячие души не мстили, обратясь в нетопырей, не сосали бы кровь русских младенцев, чтобы не навевали врагам сны, указывая путь к Рось-реке, соблазняя чужих славянским богатством.

Нечестно и подвергать беззащитный труп поруганию. Срезав дерн, слобожане вырыли глубокую яму в ближней к привалу лощинке и уложили тела хазаров в общую могилу. Считали, чтоб знать, скольких победили.

В куст густой полыни заполз раненый и там отдал дух. Вытащив тело, Ратибор начал было его раздевать – и отпрянул. Не мужчина, а женщина в мужском платье была перед ним. Женщина-воин. И смерть приняла грудью: левое плечо рассечено. Смуглое лицо чуть исказило желание что-то сказать. Глаза были открыты, громадные, глубокие. Обманутый их живостью, Ратибор наклонился и увидел себя отраженным в глубине. Будто он сам глядел оттуда. Он смотрел, не будучи в силах оторваться. Сейчас она оживет!

Длинная коса, черная, как перо ворона, лежала, скрываясь в купе полыни, и казалась бесконечной. На груди едва поднимались два маленьких полушария, девственно-нежные. Впервые перед Ратибором была женщина, в его власти, но безгранично чужая – ее унесла смерть. Сломленное деревце. И уже летела муха к глазам, где остался Ратибор.

Кто же срубил хазаринку, кто загубил такую красоту?! В поле встречаются, не смотря на лица. Сама ли ты пошла на Рось-реку, повез ли тебя кто, будучи не в силах расстаться с твоей лаской?

Полжизни отдал бы Ратибор за горсть мертвой воды, чтобы срastить порушенное тело, да за горсть живой, которая вернет душу. Что – полжизни! В странном безумии он отдал бы всю, оставив себе день, пусть час, с воскресшей хазаринкой.

А там уже заполнили общую могилу, засыпали землей желтоватые хазарские тела. Крепко уминают землю – не дорожатся звери, – закладывают сбереженными ломтями дернин, чтобы могила поскорее слилась со степью и никто не нашел места, даже те, кто рыл могилу.

Ратибор же чего-то ждал в тоске неутолимых желаний, томился без надежды. Рог звал. Ратибор слышал, но не шел к сбору.

Незамеченным подошел Всеслав. Вещий воевода, сорокалетний мужчина, понял двадцатилетнего, не знавшего еще женской любви.

– Не дам ее зарывать, – сказал Ратибор, закрыв своим щитом от чужих грудь и лицо хазаринки.

– Да, – глухо согласился князь-воевода. Ему мешала рана, набухал язык, горло спирало. – Положи ее на костер вместе с нашими...

Добыча досталась богатая – будут делить слободские. Получат нужное, не обременяя себя излишним запасом. Воевода заботится обо всех. В слободе, как и в родах, общее хозяйство, общие вещи. Есть у каждого и свое собственное, нужное для жизни. Износилось, испортилось – дадут новое, если не в силах сделать сам. Роды вместе возделывают поля, разводят скотину, собирают медовые борти, ловят рыбу, охотятся за зверем, ткнут ткани, выделывают кожи, орудия труда. Разные дела делают разные люди по силе и умению, каждый в роде имеет право

на все ему нужное. Князь-старшины, указывая, какую делать работу, по обычаю соображают общее всем дело, советуясь со старшими по летам.

Взятое с бою принадлежит слободским, но не тому, кто взял, а всем. В этом сила слободских обычаев. Иначе сильный станет еще сильнее, а слабый не дотянется до сильного. Каждая цепь не крепче самого слабого звена.

Дико, норовисто шел к Роси взятый с бою табун. Хазарские лошади волновались, слыша чужую речь, чужие голоса, пугались незнакомого запаха россичей. Привыкнув. Иной слобожанин отмстил особо приглянувшегося коня в надежде, что при дележе князь-воевода внемлет просьбе. У такого коня в гривку вплетен ремешок с узелками или заплетен косицами жесткий волос.

Закутав в хазарские плащи, слобожане везли своих мертвых. Вот и Сварог на дубе сделанся виден. Каждый воин протягивает богу оружие, на котором нынче получил успех, каждый славит Огненного Отца.

Всеслав не мог приветствовать Сварога голосом. Вещий воевода предрек налет хазаров, но не мог узнать, когда самому закрыться щитом. Хотя он не сходит с копья – ему плохо. Кровь больше не течет, облегчая тело, из запекшихся ран. Отекло лицо, набухло во рту. На горло легла петля, и грудь тянет воздух всем усилием ребер и плеч. Не слова, а шипение проходит через воспаленные губы.

5

В версте от слободы, близ края леса, разложены костры. Шесть костров разложены так, что образуют круг. В середине седьмой – для ведунов.

Князь-старшина Колот – друг Всеслава – известен своему племени знанием силы трав и тайны небесных соцветий-созвездий. Колот умелец в искусстве гаданий. Зовут его россичи Колот-ведун. За глаза иной скажет – колдун. Это обида. Ведун ведает добрые силы, колдун, чтоб вредить людям, знается со злыми.

Сегодня вместе с матерью Ратибора, старой Анеей, Колот варит травы в глиняном горшке. Чтобы отвар был целебным, нужен не медный, не бронзовый, не железный горшок. Белая глина одна благоприятна лечению. Глину копают на молодую луну, вечером, когда на закате едва намечается новорожденный серп. В такие же дни собирают спелые травы. Начинать доброе дело надобно с нарастанием луны. Заклятья на злое поручают концу луны. Но это тайна колдунов. Колдун прячется. Чтобы погубить другого, он сначала губит себя самого. Колдун вершит один. Ведуны скрывают тайны, чтоб невежда не испортил творимое, друг друга же не чуждаются. Мудрая старуха Анея знает тайны доброго делания.

Сменяясь, чтобы заклинания звучали без перерыва, Колот и Анея нашептывают нужные слова: зарок удваивает силу трав.

Нынче ночью никто из слободских не спит. Все на работе, все выбирают в лесу сухие деревья и тащат их, готовя погребальный костер. Опыт научил, сколько надобно дров для сожжения тела. Сколько тел – в два раза больше сажень сухих дров.

Семь тел ждут погребения.

Ни охладевший ночной воздух, ни горячее дыхание костров, ни пар от варящихся снадобий не приносят облегчения Всеславу. Ему кажется, что узкая трубочка, подобно соломинке, вставлена в затвердевшее горло. Лицо воеводы синее, опухоль обезобразила губы и щеки. На голой груди и шее вены надулись веревками. Дышать! Невыразимо страдание не боли – бессилья.

Снадобье готово. Остужая, Колот и Анея переливают черную жидкость из горшка в горшок. Навар меняет цвет, светлеет; или это только кажется при неверном свете костров?

Остывшее снадобье сливают в турий рог, служивший еще отцам и дедам. Тонко отполированная, каменно-твердая кость успела покрыться сеткой трещинок, истерлась серебряная оковка – от древности рог сделался еще дороже.

Срез рога – две четверти в обхвате, внутрь может пройти кулак. С матерого тура сняли этот рог. Изнутри края окружает серебряная бахрома, ее волоски загнуты вниз, чтобы задерживать травинки, плавающие в целебном отваре.

Ведун и ведунья пробуют снадобье и передают рог воеводе.

– Испей за здравие, Сварожий внук, чтобы тебе была долга жизнь, чтобы сто пар сапог истоптал, пока не взойдешь на костер! Испей силы Сварога!

И на ухо Всеслава Колот шепчет:

– Пей во имя Черного Перуна!

Нет, не входит в горло напиток. Тщетны попытки глотнуть. Всеслав возвращает рог. Не могут помочь травы, не помогло и заклятие, написанное на роге причудливыми черточками, кружочками, углами.

Всеславу видится, что он плавает в громаде воды. То опускается в зеленую глубину, то поднимается, расталкивает руками серо-грязные тяжкие льдины, видит сизо-черное небо. Потом опять уходит в неподвижную зелень глубин и вновь поднимается к безрадостной поверхности, не удивляясь тому, как мягки льдины, как тепла вода, в которой плавает лед.

Воевода не хочет лечь; закинув для опоры руки за спину, он смотрит в небо, которого не видит. Свистящий хрип кажется почти криком. Он обречен. Ведунья переглядываются: завтра на погребальный костер взойдет восьмое тело.

«Да, – думает Колот, – и будет новый воевода на слободе». На погосте соберутся все десять князь-старшин, придут слобожане, будут думать. Колот не желал Всеславу смерти, они были друзьями. Колот жалеет, что не подготовился к смерти друга: он сам хочет сделаться вождем слободы. И он размышляет, кого из князь-старшин, кого из слобожан подговорить, чтобы назвали его имя.

Анея скорбно глядит, как серый пепел гасит угли ненужного костра. Тем уголком сердца, где женщина и в старости целомудренно хранит понимание тайн любви, она горестно жалеет Всеслава. В нем соединяются высшие качества мужчины, и племя теряет во Всеславе лучшего защитника, который еще не свершил великого подвига.

Неподалеку, рядом со своей злосчастной добычей, лежит сын Анеи. Мать в заботах о вожде слобожан забыла неразумного сына. Добыча его никому не нужна, никто не оспорит ее у воина. Ратибор не развязал ткани, закрывшие тело хазаринки. Смерть уже потушила очи – пусть они останутся такими, как он увидел их впервые.

Живой с живыми! Всеслав разбросал мертвые льдины. Нет, не умереть, не умереть! Ничто не совершено из замыслов, которые он таит. Страшна не смерть – горько, как сок боли-голова, сознание несвершения желанного.

Удушье усиливается. Нет, живи! Воевода дрожит в ознобе. Смерть – противник. Он хочет смять смерть, схватить. Он тоже душит, ломает. Черные когти впиваются в горло, он отрывает их. Ему кажется, что под его пальцами ломаются чьи-то кости.

Он делает шаг, другой, третий, наступает! Даже холодный Колот испуганно глядит на борьбу с невидимым. Всеслав хрипит, слышатся непонятные слова. Кажется, что он срывает с себя нечто. Вот он берет за голову, обеими руками поворачивает ее вправо, влево. Ладони сползают, жмут ребра. От черноты тела волосы на груди кажутся золотыми.

Дышит воевода, дышит! Он отплеывает черно-смолистую кровь и дышит. Он говорит:

– Пить!

Анея подает зачарованный рог. Крупный орех ходит под кожей горла. Воевода пьет... Пьет!

Всеслав победил. Смерть отступила, это видят все. Жизнь принадлежит сильному. Не подобает кричать от радости там, где лежат мертвые. Весть о победе воеводы передается, бежит, как огонь по траве, в глубину леса, к самому дальнему слобожанину:

– Воскрес Всеслав, воскрес! Вернулся от порога Смерти!

Будто и не было ничего, воевода спросил:

– Готов ли костер для погребения братьев?

Увидев Ратибора, Всеслав вспомнил. Ударив молодого воина по плечу, он заботливо приказал:

– Горюешь? Встань!

Они уходят.

Горят высокие костры, охраняя огнем тела павших за племя. Сторожа с обнаженным железом устрашают злое, ведуны подбрасывают в пламя пахучую освященную смолу.

Утром прошлого дня над слободой поднялся столб черного дыма. По дыму в градах узнали: в Заросье ходят степняки. И, готовясь к обороне, князь-старшины приказывали, кому из мужчин идти слободе в помощь, кому остаться для защиты града.

В конце первой четверти дня дым запрыгал клубами, будто его раз за разом выдували мехом величиной с ворота: слобода бьется со Степью! Спешили градские дружинники, боясь опоздать.

К концу дня все грады узнали, что слободские своей силой перебили степных людей и взяли богатую добычу. Называли имена убитых в бою слобожан. И стали градские собираться к слободе.

Ближние пришли утром, дальние подходили и подходили. Тропы через владения племени извилисты, чужой не сразу сумеет проникнуть сквозь лесные чащи, овраги, а напрямик через леса, разделяющие возделанные поляны, тоже нет хода: хуже ветролома мешают умно устроенные засеки поваленных деревьев. Вольные люди собирались без понуждения. Обычай рожден жизнью, он для россичей сильнее писанных законов, измышленных в те же годы владыками персов, римлян, готов и прочих людей.

Все живое обречено смерти, птица и зверь, рыба и змея, злак и сорная трава, дерево и куст. И человек... Зная неизбежность смерти, постигнув неизбежность уничтожения всего живого, россичи не примирялись с прекращением собственных дней. Здесь ни привычка, ни равнодушие не смиряли людей. Тесная любовная связь семей и поколений, познание жизни как высшего, ни с чем не сравнимого блага сумели породить, как меч породил доспех, а стрела – щит, желание жить после смерти. Беспощадное вторжение смерти, чувство горчайшей утраты, сердечная святость земных связей, земной любви издревле родили у россичей убеждение во временности разлуки. За погребальным костром всех ждали встреча и вечный союз.

Примирение, непроницаемый покров забвения на отгоревшем пламени былых страстей... Не только это – усопшие делались хранителями живых и покровителями рода.

Погребальный костер был сложен из дубового дерева. Дуб – дерево мужчин, его пламя очищает душу воина. На верх строения уложили дорожку, по ней возносили тела. На грудь клали щит, в ноги – колчан со стрелами, лук. Справа – копье, слева – меч, как при жизни, так и в небе. В головах ставили берестяные и лубяные чаши, горшки с медом и молоком, не забывали хлеба и круп. На пальцы надевали бронзовые, медные, серебряные перстни, какие у кого были, с камешками или простые. На головы – шапки, ноги обували в новые сапоги. Клали арканы для ловли коней и ременные лестницы, чтоб лазать на деревья. Накрывали плащами. Ничего бы не забыть, дабы друг не попрекнул друга в небреженье при грядущей встрече.

Женщины плакали. Кто с тихим стенанием называл усопших по именам, кто с громкими воплями поручал им не забыть на небесной тверди передать родимым вести о живущих на земле.

Последним Ратибор внес на костер тело хазаринки, душу которой он спас для себя от гибели в подземном мраке. Женщина ныне будет ждать его. Ратибор положил на нее зарок ни с кем не любиться до свершения его часа. На твердый холодный палец молодой воин надел медное колечко, простое по делу, не простое по заклинанию. Около хазаринки поместили вещи, подаренные добрыми русскими женщинами: веретено, прялку, моток льна, шерсти, чтобы не скучала без дела. В молчании земли семя выпускает росток, в молчании раскрывается почка, молча зачинается жизнь. Люди затихли, ожидая совершения огненного чуда.

В тишине слышался стук огнива о камень. Старая Анея держала кремень с подложенным трутом. По кремню каленым железом ударял старый Горобой, князь-старшина, отец Всеслава. Сухой древесный гриб, варенный в щелоке, – трут занялся. Вторая старуха раздула трут, подложила его под костерок, сложенный из сухих стружек женского дерева – березы. Горобой же, сделав свое дело, отошел.

Женщина есть созидательница, образовательница. Это она собирает семя, вяжет снопы за косцом, согревает род, дает племени тело. Она как кремень, в ней скрывается пламя. Женщина оберегает племя, она зачинательница, без нее прекратится жизнь руссичей. Поэтому на погребениях женщины должны заботиться об огне.

Мужчина пашет, бросает семя, раздирает земную плоть – он воин, наделенный мощью тела. Поэтому мужчина должен бить огнивом по кремню, а женщина должна держать кремень. И мужчина, как отец, которому принадлежат рожденные женщиной дети, поджигает последний костер, чтобы освободить последним разрушением душу от омертвевшего тела-коры.

По знаку Горобоя слобожане разбирали заготовленные сосновые лапы, брали пламя от костерка. Костер занялся кругом в самый полдень, в самый яркий свет неба, чтобы души не заблудились в пути. И завилось пламя, унося в небесную твердь растворенную и очищенную плоть – славянские души.

Вселившись в орла, вещей человек может подняться сквозь воздушные токи до самой границы небесной тверди. Оттуда он охватит земли людей славянского языка от пределов степей Юга до холодных морей Севера, как их видят жители самой тверди. Ближе всех к пределу степи лежит земля малого племени руссичей. Здесь он увидит извилистую реку, часто сменяющую тихие заводи на стремительное течение. Увидит лесную чернь с темными вкраплениями сосновых рощ, поляны-росчищи с полосами хлебов, со стадами коров и овец, с табунами лошадей. В серединах некоторых полян, подобно семьям груздей, теснятся тесовые кровли градов. Родовые межи обозначены столпами высоких могил, там тени руссичей – обугленные косточки – и тени взятых на небо вещей – ржавчина железного оружия, позеленевшая медь. Сделавшись вечной собственностью предков, вещи потеряли земной вид. Но могилы живут, они стерегут границы.

Не будь могил – было бы ли племя? Могилы руссичей соединяют прошлое с настоящим. Без такого единства нет будущего.

Тает, тает огненная гора. Руссичи смотрят, думая о душах ушедших. Они там, где царит вечное, непонятное земному человеку движение; там носятся и борются небесные звери, пасутся небесные стада, плывут небесные челны и светятся цветы.

Души семи воинов, душа неведомой хазаринки вместе несутся через волнующийся океан воздуха, дно которого – наша Земля. Они не боятся зырканий молний и громовых ударов. Вот голубая прозрачная гора царства навих – предков, свет и жилище душ. Здесь хранилище всех семян, здесь солнце отдыхает после дня. На небесных лугах души младенцев пасут петушков, перья которых блистают зарницами для глаз земных людей. О душах младенцев заботятся белые облачные девы до часа, пока душа матери не поднимется к ним.

Остыло жаровище. Место подмели с краев, не ступая в середину костра из почтения к праху. Землю носили в щитах, в бадьях, в ивовых и лубяных коробах, в кожах, в плащах,

бросали со всех сторон в середину, мягкий холм нарастал, осыпались комья. Потом утаптывали ногами, били колодами на ручках, поливали водой, чтобы плотнее улеглась земля, а холм был круче.

Священны могилы, великое зло перед усопшими потревожить погребальницу. Намогильный холм так надо насыпать, чтобы веками никому не пришлось в силу разрыть его или запахать.

На многих телегах и вьюками привезли хлебы, вареное и жареное мясо, рыбу, варево на мясе и рыбе в глубоких корчагах, каши полбяные, пшеничные, гороховые, ячменные, меды ставленные пьяные, пива жидкие, как вода, и браги густые, как хлебная закваска, кислые квасы... У холма раскидывается страва-пир для поминания усопших. Едят, спеша утолить голод и жажду, славят ушедших. Размягченные пивом и медом, плачут близкие.

Начинается тризна – примерный бой. Слобожане строятся двумя отрядами. Сближаются, стучат оружием, расходятся вновь; все с острыми мечами и копьями. Но избегают нанести хоть царапинку: на тризне нельзя показывать кровь, усопшие не любят вида братской крови. Ловок и славен на тризне тот, кто, нанеся убийственный на вид удар, умеет сдержать силу.

Состязаются парами – это зрелище ловкости, боевой красоты.

Так россичи одушевлялись мыслью о бессмертии. Их не защищали союзы и договоры. Вера в честь, с которой будет россич принят в обители предков, возвышала чувство достоинства личности.

Мальчики, подростки, присутствуя на мужественных обрядах тризны, всей душой стремились к слободе. Коль придется пасть – падем, как эти!

Тризна свершилась, бойцы разошлись. С помощью молодых Горобой, отец Всеслава, взобрался на могильный холм. Провожая уходящее солнце, старик славил племя:

Имеем мы обычаи свои,
завет отцов и вечные преданья.
И вещей сон в тени родных лесов,
и шепот наших трав в лугах и на полянах,
и шелест наших злаков в бороздах,
возделанных руками русских,
и гик коней,
и топот стад,
и грай воздушных птиц, – все наше здесь.
Могилы предков хранят границы,
стоя на междупутьях, наблюдают
порядок смены лет и череду
сменяющихся поколений рода.
А толпы душ, носясь в вихрях
между землей и вышней твердью,
где обитать придется нам,
когда настанет тайный срок
блаженства вечности, —
те души совершают нам подмогу
в день трудных испытаний.
Подобно богу света, который гаснет,
умирая каждый вечер,
подобно травам и листве древесной,
светильники дыханья в человеке,
зажегшись при рождении,

потухнут...
Но человек – он не исчезнет,
он умер – как закат.
Он – успокоен.

Вдали от тризны воевода беседовал с князь-старшинами родов.

Обычай... По обычаю роды давали людей в слободу, давали скупю. Всеслав затеял трудную борьбу с обычаем, чтобы старейшие согласились отпустить в дружину племени побольше молодых. Старейшие гнут свое. Тяжело будет столько ртов кормить. И так в слободе живет каждый пятый или шестой мужчина. Откуда ж их брать? Кто в градах будет работать работу?

Всеслав говорил о хазарском загоне. Не взяли бы его слобожане внезапным налетом, сколько зла пришлось бы ждать от хазаров. Хазары – воины, у них хорошее оружие: семерых убили, десятерых поранили. Выучкой да умением взяла слобода. Будь же хазаров две сотни или три, что тогда, к чему пошел бы весь труд? Пожгли бы они грады, побили людей.

Слободской вожак себя забыл посчитать в раненых. Едва отбил от смерти, голову повернуть не может, а гнет и гнет свою сторону. Неслыханное дело совершил Всеслав – сам из себя вытащил стрелу. Пусть побил хазаров, пусть набрал богатую добычу – по справедливости все меркло перед мужеством воеводы. Договорились же наполовину. Если от каждого рода в слободу пойдет еще мужчин пять или шесть, но не более семи, старейшие препятствовать не будут. Однако и понуждать никого не станут, пусть молодые идут по своей воле.

Говорили, а каждый думал: «Откуда Всеслав узнал о приближении хазаров?» Спросить – никто не спросил. Сомневались иные из старейших: не предупредил ли кто воеводу...

Заря погасала, пора и к домам. Слободские подростки почтительно поднесли гостям воду, слитую с горячих углей.

Умыв руки и лица под струей из лубяного туса, князь-старшины очистились после погребения.

Для блага обоих положено водой отделять живого от усопшего.

6

Анея шла полевой межой. Лебеда выросла уже высоко, обозначив дорожку между пшеницей и ячменем. Желтая пыльца красила юбку вдовы. Хлеба сильно выколосились, зерно выспевало, скоро и здесь начнут жатву.

Версты две в поперечнике, версты три в длину – лесная поляна, вся одетая зреющими хлебами, была как озеро в лесу. Неровная кромка деревьев врезалась в поляну мысами, отступала затонами, а в середине, как остров, устроился град, князь-старшинство в котором правил Горобой, отец Всеслава. Каждый град старался сесть средь чистого места, чтобы труднее было незаметно подкрасться, чтобы негде было врагу спрятаться от стрелы и от пращного камня.

Про росские грады правильнее было бы сказать, что не сели они, а легли за свои ограды. Ров глубокий, тын высокий. За ним, внутри града, строения низкие, растянутые по земле, не по неумению вывести стены повыше, а кровли – покруче, но с той же понятной без слов мыслью: чтоб с поля чужому глазу не видеть, что творится за тыном.

Грады рождались с одинаковой мыслью о защите в селении, как в крепости. Начинали их строить со рва, продолжали возведением тына. Домами же только кончали.

Анея вышла из своего града ранним утром; сейчас солнце высылось уже к полудню. По прямой дорожке пути стало бы верст на шесть, не более. Лесом же, минуя засеки, было, наверное, в три раза дальше.

Анея обошла огороженные тыном и защищенные глубоким рвом градские зады. Обычно ручьи, которым помогла рука человека, питают рвы. Здесь ров был почти сух, – видно, еще

не прочистили заросшую весной канаву. Крутые откосы затянуло малинником, внизу местами стояла вода, покрытая ряской. Грелся на солнце толстый уж. Он не шевельнулся, и женщина сошла со следа, протоптанного людьми и скотом, чтобы не побеспокоить змею. Добрые змеи, черные, в коронках белобрюхие ужи и коричнево-бурые полозы, порой жили под избами. Дети играли с ними и пили молоко из одной чашки. Добрые змеи враждовали с гадюками. Туда, где живет уж или полоз, гадюка не ходит.

Перед околицей через ров был переброшен мост. Четыре бревна-переводины, опираясь на козлы, несли настил из пластин – распластанных повдоль бревен. Концы моста опирались на врытые в землю чурбаки. Дерево повыщербилось под копытами, размочалилось под тележными колесами. Мост давно не меняли, не рушили, как делали при вести о набегах степняков.

Для проезда в тыне было оставлено узкое место – распростертыми руками почти можно было достать до обоих воротных столбов. Пройдет телега – и добро. Тяжелое полотнище ворот было отвалено, и вход преграждали две жерди, чтобы не вошла отбившаяся скотина. Анея, согнувшись, пролезла под жердями. Годы стали не те, чтобы перепрыгнуть, как бывало.

От ворот узкая прямая улица почти сразу упиралась в глухую стену избы. Уступ служил препятствием для того, кто с размаху ворвется в ворота. Обойдя стену, улица опять вытягивалась прямо.

Тихо, безлюдно, все при деле. Двух женщин встретила Анея на всей улице, поклонились друг другу не по одному обычаю. В десяти родах россичей наберется не более десяти сотен взрослых, все знают своих в лицо. Женщины не спросили Анею, зачем пришла из своего рода, только пожелали здоровья. Хозяин гостя не спрашивает, Анея здесь общая гостья. У ворот Горобоя Анея потянула за деревянное кольцо. Внутренняя щеколда поднялась.

Калитка открывалась наружу, колода же была врублена с наклоном внутрь. Тяжелое калиточное полотнище, собранное из дубового теса пальца в четыре толщиной, могло догнать неосторожного посетителя и, глядишь, чуть ли не сломать спину. Дома у Анеи была такая же калитка, поэтому старуха успела переступить через порог. Сзади щеколда сама поднялась по скосу и вщелкнулась в паз. Ворота, как и градские, были узкие, едва проехать, изнутри крепкие засовы были вставлены в кованые гнезда.

Двери и ворота всегда должны открываться наружу. Бей по ним, будут держать, пока не порушится все строение. Много забот и труда требует крепость, много рук отнимает от другого, нужного дела. Посчитать все тыны, толстые стены, рвы... Работа большая. Куда легче и проще живут дальние от степи славяне.

На тесном дворе, шагов десять в длину, не более – в ширину, выбрав место на солнечном пригреве, лежал пес. Был он ростом с трехмесячного теленка, в сизой с проседью шубе. Услышав Анею, пес поднял заросшую морду – через жесткую шерсть едва блеснули глаза – и опять опустил на лапы. Зверовые собаки были обучены не сметь рычать, тем более бросаться на людей во дворах, на улице. Если хозяин не прикажет. Чужих в своем роду нет, нет соседей – все свои. Кому что нужно – спроси, нет никого – возьми сам, не теряя времени. Потом скажешь или отдашь.

На голос Анеи выбежала девочка лет четырех, в рубашонке, и уставилась на гостью. За девочкой вышла рослая женщина, высоко неся тяжелый живот. Да и без того, по одному усталому лицу с темными пятнами, можно было сразу узнать, что близко разрешение от тягости.

С натугой женщина поклонилась, стараясь достать рукой землю:

– Будешь здорова, матушка Анея, вот мне радости послали...

– Будь и ты здрава, молодая, – ответила старуха, – давно не бывала я. Отец-то где? Не ушел ли куда?

– Тут он, в соседях. Да ты, матушка, в избу-то пойди, отдохнешь, отведаешь хлеба-соли.

Гость дальний, из другого рода, хозяину зазорно его забыть, гостю нельзя отказать: брезгует, стало быть. Нарушение обычая поведет к обиде на годы и годы.

Дверь в избу Горобоя низкая,ходишь – кланяйся. Не из гордости строят россичи низкие да узкие двери, а для обороны. И оконца узкие – взрослому не пролезть. В глубине избы на земляном полу устроен очаг из дикого отесанного камня. Над ним крыша по-летнему раскрыта широким продухом для тяги дыма. Зимой продух закрывают, дым тянет через открытую дверь. Зато когда дрова прогорят и дверь закроют, в избе тепло, хоть раздевайся догола.

Крыша-стропа собрана без потолка, видна балка-матица со стропилами-ребрами. Избы всеми россичами ставятся одинаково. В избе темновато, особенно для того, кто вошел со светлого дня. Обросшая сажей крыша черна, как крашенная дегтем. Черны и стены, в пухлой, как мех, саже. Сажа везде, где в повседневной жизни ее не касаются спины и руки. До всей сажи хозяйская рука с метлой и веником добирается дважды в год: по весне, перед светлым женским праздником первого березового листка, и по осени, когда россичи ухичивают жилью к холодам.

Вокруг стен идут широкие, в пять четвертей, лавки-лежанки, на них и сидят, и спят. Зимами, когда надоедливые дожди перебьются морозом, спят и на полатах – дальний угол избы весь перекрыт тесовым помостом. На полатах могут улечься и двадцать человек.

У Горобоя мало народу в семье, а изба большая. В лесу живут россичи, дерева много, строятся широко. Направо от входа к стене пристроены перегородки, вход завешен серой тканью. Там по обычаю хозяйская постель. Второй такой же кут – для женатого сына.

С приговорами, с просьбами, слова которых, не думая, произносит язык и, не думая, принимает слух, жена слободского воеводы Краса усадила Анею за длинный стол, ножками врытый в пол. Легко отвалив толстую крышку высокого ларя, хозяйка вытащила деревянное блюдо с вареным стегном-окороком дикой козы, положила на стол длинный нож.

– Всеслав вчера прислал из слободы две туши. Будто бы своего мяса нет в доме... Нужно мне! – вдруг сорвала с сердцем женщина.

Тяжело, на всю ступню топая босыми ногами, она вышла и вскоре вернулась с глиняной корчагой молока. В другом ларе нашлись круглая миска с сотовым медом и малый, ладони в две, плоский хлебец. Разломив его руками, Краса предложила гостю большой кусок, себе оставила меньший. На том и кончился обряд. Небрежение хозяина оскорбительно гостю. Но и навязчивость излишня среди вольных людей: все перед тобой, ешь от души, неволить не будут.

Сев рядом, Краса закусила свою долю хлеба. Анея проголодалась, ела охотно, запивая молоком. Зубов у старухи осталось мало, но мясо было хорошо разварено. Хозяйка жаловалась на хлеб:

– Самые остатки остались зерна-то, по ларям поскребыши скребем. С сором да мышами травленные. Не дождемся, как доживем до новинки.

И правда, хлеб в доме князь-старшины был не хорош ни вкусом, ни цветом. Шел последний месяц перед жатвой, россичи тянули остатки зерна, делили его горстями по едокам. Обилие мяса, молока, творога, масла, меда – все казалось пресным без хлеба. В градах редко слышалось ворчанье жерновов.

Молоть зерно – женская и ребячья забота, труд легкий, но нудный. Жернова парные, в один охват, положены пирогом. В середине верхнего жернова выдолблена дырка пальца в два, ближе к краю жернова торчит ручка. Жернов крутят, в дырку горстью подсыпают зерно. Поломанные и перетертые зерна высыплются кругом на подложенное рядом. За один пропуск получается крупа на каши, за два пропуска – крупная мягкая мука. Кому захочется хлебца поболее, тот отобьет муку на частом сите из плетеной соломы.

Плохо, когда успокоительный голос жерновов смолкнет зимой. После женского праздника березового листка бездействие жерновов не страшит.

Так и ответила Анея:

– Ничто, Красушка, скоро жать будем.

- Скоро, – безучастно согласилась Краса.
- Вижу, ты мальчика принесешь, – заметила Анея.

Ведунья такого слова зря не скажет. Видно, присмотрела приметы, заглянула в совершающуюся тайну.

Чтобы не испортить вещего слова, Краса, поворачиваясь на все четыре стороны, в каждую заклала:

– Сделай, сделай, сделай, сделай! – и призналась Анее: – Я и сама было думала так. Сказать-то боялась, чтобы не испортить. А он-то, голубчик мой, стал сильно толкаться. Ох! – Краса положила ладонь на живот. – Услышал! И впрямь мужичок!

- Теперь уж не бойся слова, дело свершено то, – успокоила Анея. – Будет мужик у тебя. Старуха ласково погладила Красу по голове, туго повязанной платком.

Ласка растворяет непривычное сердце. По увядшим щекам Красы потекли непрошенные слезы.

– И чего мне себя беречь-то, – запричитала она, – кому нужна я? Был бы у меня муж какой-никакой, а был бы со мной, уж я бы его, голубя, холила. А этот? Когда раз в месяц, когда через два прискачет из слободы, как чужой. Слова не скажет, знай ему рожай и рожай! Ему бы мечи, да копья, да дружина, сам весь он как каменный идолище.

– Такова наша доля, носи да корми, корми да носи, пока женское в нас живет, – строго возразила Анея. – Наш бабий живот собой род-племя несет, без нашего бабьего дела россиячи истощатся. Я не припомню, скольких рожала. Ныне дочь живет. От старшего сына, которого хазары побили, двое внучат живут, третий мой роженный – Ратибор. Остальные малыми перемерли. А все же я перед родом не должница.

– Да разве я перечу, матушка, – жалобно сказала Краса. – Я Всеславу рожала, не моя вина, что дети не жили. Вот, гляди, девочка растет, другого мальчика в себе ношу. Радунницы да навьи помогут, вырасту парня.

Положив щеку на ладонь, Краса заговорила нараспев:

Рожу, выкормлю,
слезою вымою,
собой выкуплю
сына милого.
От лихого зла,
от напасти всей,
от беды денной,
от беды ночной
заслону его...

Упав головой на стол, Краса снова заплакала и вдруг засмеялась:

– Я так его выхолю, что мой он будет, матушка Анея, только мой. Второй будет пусть Всеславов, а этот – мой!

– Милая, – внушала Анея, – будет он свой собственный, как все сыновья наши. Не будет роду добра, коль наши сыновья будут дома сидеть, за материнский подол держаться; нет нам добра, когда нас сыновья бросают для копья да меча. И так сердце рвется, и так рвется. И нет из нашей горькой доли иного спасенья, как сердце крепить и крепить, себя побеждать. Понимай – так жили, так жить будем. Стало быть, иначе нельзя.

Замолчала Анея, и такая тишина в доме сделалась, будто смерть навестила живущих. Неслышно ступая, подошла к столу дочка Красы, залезла на лавку, дотянулась до миски с медом. Женщины очнулись.

– Благодарю дом сей и род сей за привет да за ласку, – произнесла старуха.

Шепча обращение к огню, она отрезала кусочек мяса, бросила его с хлебными крошками на пепел очага. Туда же плеснула молока и капнула меда – для предков.

Горобой все не возвращался. Анея вышла во двор. Солнце переместилось, вместе с ним переместился и домашний пес, наглядно знаменуя для Анеи судьбу человека вообще, особо же убогую судьбу старости: не имея своего тепла – занимай у другого.

Анея тоже уселась на припеке.

Куда легче найти тепло для тела, чем для стынущего в забвении человеческого сердца. Сердцу нужна любовь, а ее не достанешь по заказу. Это не солнечный луч доброго Сварога, что греет каждого, не различая букашки от человека, морщинистой старухи от красавицы-девушки. Сварог есть отец всей жизни. Так было, так будет – хорошо знала Анея. Она сумела перенести неусмирную деятельность сильной души на общее благо рода, как она его понимала.

Дом Горобоя был длинной стеной вытянут по улице. К дворовой стене дома лепились чуланы и кладовые, сложенные из толстых бревен, как и дом. Дубовое строение надежно, вечно, пока огонь не вырвется на волю. В кладовых князь-старшины хранились самые ценные родовые запасы: соль в долбленных вязовых колодах, ткань для мены, выделанные кожи, запах которых чувствовался и во дворе. Берёг род у князь-старшины и сырое железо, которое брали кузнецы по мере надобности, сюда же сносились глиняная посуда, шитая тканевая и кожаная одежда, орудия для обработки земли – мотыги, плужные лемехи. Надежно укрытые стенами, стояли обсыпанные песком высокие глиняные корчаги. С осени в них закладывали самое ценное из всего – просушенные, отвеянные от куколя, овсюга и прочих сорных трав семена для посевов. Ныне корчаги по времени года пустовали.

К кладовым примкнул второй дом, поменьше. Против ворот были ставлены хлева для зимнего содержания скотины. Сейчас скот гулял либо в лесу, либо в поемном лугу.

Соседняя усадьба отделялась от двора высоким плетнем из толстых ивовых веток на дубовых столбах. В плетень вделана узенькая калитка. Анея привсталала – через калитку пролез долгожданный хозяин. Был он тощ, по-стариковски костист, мощное некогда тело ссохлось, уменьшилось от старости, а стать осталась. Плечи не проходили, и через калитку Горобой протиснулся боком, плоский, широкий, как стол.

Беленные росой на луне и на солнце рубаха и штаны болтались, будто под ними почти не осталось тела. Уже лет десять Горобой по-стариковски перестал брить бороду. Желто-белая лопата лежала на груди, оголенной распахнутым косым воротом. Усы же, которые никогда не брились, падали ниже бороды, и в них на диво еще змеились черные волосы.

Встав, Анея низко поклонилась Горобою, старейшему вдвойне: и годами и княжеством. Блюдя свое достоинство, Горобой ответил кивком, не утруждая спину. Засунув руки за красивую опояску, старик спросил ласково:

– Здорова ли, Анеюшка? Ну ладно, ладно, стало быть. А нашего хлеба-соли отведала ли? Ладно.

Старик, бодрясь, высоко держал голову, борода вздернулась между длинными косами усов. Он оглянулся:

– Садись-ка сюда, на колоду. В избе мне чтой-то прохладно, будто мне не так здоровится нынче с утра.

Плохо грела старая кровь, в чем Горобой не любил, как и все, признаваться.

Опустившись на колоду, князь-старшина сразу сделался меньше, кости острыми углами выперли на плечах, локтях, коленях. Анея уселась рядом, удобно опершись спиной на тын.

– Дело у меня к тебе, князь, не простое, – начала Анея.

– То знаю, не простое, – со стариковской словоохотливостью подхватил Горобой. – Ты тоже, чаю, не молоденькая, а вот прибежала же в другой род. Аль у вас там неладно?

– У нас ладно.

– Так чего же ты ноги топтала за семь верст овсяного киселя хлебать?

– Я к тебе самому пришла, к Всеславу отцу.

– Ишь! – удивился Горобой.

Отделив усы от бороды, он, привычно играя мужским украшением, навивал на пальцы длинные, как девичьи косы, пряди.

– Всеслав? – рассуждал Горобой. – Он сам себе голова. Он все равно что я – князь родовой. Стрела ему голову пробила, он же сам вытащил и живет, как и не бывало ничего. Случалось ли такое? Вот он, Всеслав. В нем густая кровь.

– Слышь-ка, – перебила Анея отца, который не нахвалился бы умным, удачливым сыном, – слышь, ты вот отец, а я – мать. У меня нет мужа, я одна умом.

– Ну так, ну и что ж?

– У сына моего ума не стало, у Ратибора.

– Что говоришь? – Старик отпустил усы, дивясь. – Я не слыхивал про него, а я, мать, все знаю. Он в слободских мало не в лучших.

– Не про то я, – досадливо возразила Анея. – Парню жениться время пришло, а он отрекается.

– Не хочет, стало быть. А мне что? – В улыбке старик показал желтые зубы. – Своему князь-старшине жалуйся, что у вас князя, что ли, не стало?

– Не я ль говорила! Белая-князь к нему и добром, и грозил. Не послушал и его Ратибор.

– Вот ты какой. – Горобой продолжал усмехаться. – Девку ту, что ты даешь, не хочет брать? Другую найди. Сам пусть ищет по сердцу. Разгорится, так быстрее коня побежит, птицей полетит. Не нуди парня. Я вот сам себе в свое время нашел.

Сделавшись серьезным, Горобой поднял кустистые брови над непотухшими черными глазами.

– Он же, Ратибор мой, тебе говорю, совсем жениться не хочет.

– Совсем? То неладно, неладно... Чего ж делать-то с ним? Всеслав, воевода-то, что сказал?

– Сказал, не его дело слободских воинов сватать.

– Оно и верно, не его дело-то.

– Так тому, значит, и быть, что парня околдовала мертвая баба-хазаринка? – возвысила голос Анея. – Чтоб он перед родом был как изгой безродный, чтоб мое семя пропадало в нем. Небывалое дело случается.

– Так и я размышляю, не ладны будут такие парни, – согласился Горобой.

Старик и старуха повесили головы под тяготой общей думы. Весной и по осени – трясучие лихоманки, летом – болезни живота, зимой – кашель, нарывы в горле, – малые дети не заживались на белом свете. Взрослые редко болели, для взрослых ведуны знали травы, дававшие хорошую помощь. Взрослые были на диво могучи, рослы, дети же хилы, среди десятков мог пробиться только один. Так на тощей земле из многих семян прорастают и укрепляются избранные, а слабые, кому нужна помощь, отмирают. Россичи не знали голода, хватало молока для малых детей, хоть топись в нем, и нежного птичьего мяса, и яиц, овсяных и пшеничных каш, ягод, яблок, груш, малины. Бабы рожали часто. Не жили дети, не жили. Из десяти, пятнадцати, а то и двадцати оставалось едва четыре, чаще – три, иной раз только два.

Мысль Горобоя ходила будто по кругу: угодий много, скота води сколько хочешь, ручьи и Рось-река кишат рыбой, зверя не взял бы только глупый иль слабый, а таких не бывало. Взрослые брезговали брать дикую птицу. Она была детской добычей, семилетний парнишка или девчонка умели притащить домой вязку кряковых уток, больших куликов, стрепетов, гусей, взятых детским луком или немудрящими силами. Налеты степняков стали что-то редки, уже

давно степняки не прорывались на Рось-реку. А род мало разрастался, мало прибавлялось людей.

Да ни один парень, ни одна девушка не должны ходить холостыми. Созрела девка, у парня закурчавилась первая бороденка – пора. Трудись для рода, дай плод, не губи семя. Не возбранялось взять и вторую жену.

– Да, – согласился Горобой, – надобно и понудить неразумного. Я Всеславу прикажу, прикажу я ему. Он хотя и сам как князь, а сын мне.

– А крепко ли будет? – лукаво усомнилась Анея. – Ратибор совсем обезумел.

– Сделаю – и крепко. Тебе говорю, старая.

Опять оба понурились, зная, что дело будет сделано. И стало обоим чего-то жалко.

– А помнишь, – заговорил старик с усмешкой, но с иной, чем было вначале, – ты-то сама помнишь, как любила? Забыла, что ли? Я не забыл. Я буду тебя постарше весен на тридцать небось, а?

– Настолько ли старше или иначе, откуда мне знать, – уклонилась Анея.

– Верно говорю, – подтвердил Горобой. – Тебя еще не было – у меня второй сын родился. Который потом за хазарами в степь ту ходил и не вернулся. Ходил при тебе уж. То ты помнишь?

– То я помню.

– А того, что раньше было, никто, кроме меня, не помнит. Первую свою я любил знаешь как? Была же она бесплодна. Три лета прожили, детей не несет. В ней я души не чаял, она во мне. Нет и нет детей. Вторую жену взял. Две жены у меня стало, а в мыслях, сердцем жил с одной, с первой. Вторая только рожала. Первая умерла на своей тридцатой весне, вторая ее пережила лет на десяток. А я все с первой, все ее видел. Так вот и мои дети рождались. И третья жена жила в моем доме, я уж стар стал, как она отошла. Ни одну я не помню, первая же – вот она...

– Да-а, – грустно согласилась Анея.

Быть может, и у нее хранились сердечные тайны. Не так легко в них признается женщина, как мужчина.

– Всеславу Красу видела? – Горобой указал на свой дом.

– Видела.

– Ты – сегодня, я каждый день вижу. Хорошо ли ей? Живет, как безмужняя. Будто скотина для дома, а ведь она ж живая душа. Я ее по-стариковски холю. Ты баба, понять можешь: для нее моя холя – что лист прошлогодний. Ратибору прикажем, заставим. А дальше как будешь? Не может муж жить с женой насильно.

– А ты ж мог? – сурово спросила Анея.

– У меня в мыслях была другая, она же и в доме жила, со мной.

– А мой сын в мысли пусть хоть с кем живет, только бы мне внуки, а роду воины да матери рождались, – жестко молвила Анея, в упор глядя старику в глаза.

От этих слов Горобой, опьяневший от вызванной колдовством сердца молодости, потрезвел. Князь-старшина приподнялся с колоды, вновь сделался широкий, как дверь, и высокий. С вернувшейся старческой сухостью он подтвердил Анее:

– Сказал я тебе – быть тому. Ломать парня не будем, а согнуть согнем.

Анея не спешила прощаться:

– Кончили одно дело, скажу о втором, князь.

– О чем еще?

– Выслушай краткое слово. Тошно нам, матерям. И жены при живых мужьях сохнут вдовами. Нет правды на Роси: одни мы стоим против Степи. Пора каничам с илвичами быть под русской рукой.

Качнувшись к Анее, Горобой ответил:

– Трудно.

– Трудно, – согласилась Анея. – Да нужно! Тебе, отцу, из близости не видно. Поспел Всеслав для дела.

Без пара не согнешь дерева, без слова не овладеешь душой человека, не повернешь его волю.

В сердце, потрясенное кровавым угаром первой битвы, Ратибор принял очарование лица и тела хазаринки. Он пристыл к ней. Как, зачем? Он сам не знал. Но упрямо держался мечты.

Дни после хазарского истребления шли своей чередой. На пополнение потери в воинах князь-старшины прислали молодых мужчин. Подходили по окончании весенних работ и сенокоса подростки. Рана воеводы заживала, и он сам осматривал каждого нового, будто коня или быка. Редко кого отсылал, чтобы еще малость подрос.

Победа славой овеяла слободу россичей, молодые сами тянулись к ней, князь-старшины легче мирились с уходом из рода нужных рук. В прежних слободских избах становилось тесновато. И новые первым делом взялись рубить новую избу.

Из слобожан возрастом выше двадцати годов, кроме Ратибора, был только один неженатый – и то лишь потому, что слишком разборчивые старшие не могли найти желанную им, а не сыну невесту. Женатые и два и три раза в месяц ночевали в семьях. Вернувшись, иные хвастались собой и женами. Тут крылась жгучая тайна. Ее не пристало мужу открывать в вольных словах. Подростки алели, слушая мужские смешки и намеки. Вполнамека хвалились мужья мягкой да горячей постелью, въявь гордились женскими подарками – узорчатым поясом, вышитым воротом и оборкой рубахи, привозили медовые и маковые заешки из тонкой муки-сеянки.

А тайну – знал каждый подросток, – сладкая тайна не уйдет, когда пух на лице, огрубев, станет волосом.

Была у старших и другая тайна. Порой ухо подростка ловило непонятное слово. В ночи полнолуний куда-то уходили старшие слобожане. Зачем и куда уходили, где были – не спрашивай. Не положено мужчине допытываться, теща свое любопытство.

В первое полнолуние после битвы Ратибор проснулся от чьей-то руки, которая легла ему на лоб. Он схватил запястье в широком обручье. По запаху тела и приметному обручью Ратибор узнал Крук.

– Не шуми, обуйся, выходи наружу, – приказал Крук.

Ратибор сполз с низких, как избяные скамьи, полатей. На сене, застланном сшитыми козьими шкурами, слобожане спали рядами, каждый на своем постоянном месте. Ратибор натянул мягкие сапоги хазарской добычи. Затягивая узкий ремешок, Ратибор сунул в правое голенитце меч. Рукоятка едва достигала колена. Привычка носить это оружие за сапогом дала ему название – ножной меч, потом кратко – нож.

Крук ждал, загораживая собой свет в открытой двери. Двор слободы был выбелен луной, тень вышки пересекала его, будто глубокий ров. Около перелаза через тын возились люди, опуская лестницу. Не было огня на вышке, над плетеным заплотом торчали два черных кочана – головы сторожевых. Не было общей тревоги. Не нападения ждет воевода.

Спустившись с тына в числе последних, Ратибор видел, как кто-то из оставшихся в слободе утянул наверх шестовую лестницу. Оглядываться времени не было. Шли молча, гусем, ступая след в след, по-воински, чтобы кто другой, посчитав отпечатки, не узнал, сколько людей пробивали стезжку.

Передние ширили и ширили шаг. Побежали тихой побежкой, потом скорее. Звука топота не было, опирались на носки, как учили в слободе бегать по ночам. Упоенно сверчали земляные сверчки, не боясь людских теней. Длинная вязка людей на бегу растянулась было и опять собралась. Миновалось открытое место с каменным богом. Его пробежали с лунной стороны, чтобы не потревожить черно-угольную тень. Приближалось высокое место речного берега. Над

кручей обнажились скалистые кости земли. Длинный свист переднего призвал ко вниманию, два коротких приказали: «Иди шагом».

Большие камни громоздились в порядке, будто устроенном человеческой рукой. За зубчатой стеной лежало плоское, как гумно, ровное место с белыми, похожими на черепа, голяшами, с жесткой травой, чахнувшей от скудости почвы.

Здесь веснами гадюки справляли свадьбы, сплетались клубами величиной с добрый сноп. С шипеньем и смрадом вертелись тупые черные головы, играя длинными жалами.

Сила яда, носимого телом мягким и слабым, давала гадюке подлую власть, делала ее несправедливо сильной. Против гадюки знали пять заклятий. Встречая змею, россич не давал ей дороги, мешала – убивал, но никогда не гнался и не бил для забавы никого живого.

Слобожане столпились, освещенные луной. Воевода вышел из тени скал. Он нес в обнимку другого человека. Нет, не человека. Всеслав поднял что-то длинное, прямое и с силой ударил концом в землю. Нечто воткнулось и осталось стоять само.

Еще двое людей вышли из тени скал, высекая огонь. Помчались искры, загорелись масляные светильники.

Всеслав позвал Ратибора и приказал:

– Гляди!

Это был Перун, бог мужчин, войны, победы. Россичи видали немало чужих богов и просто людей из мягкого камня-мрамора, из бронзы, кости, из дерева и серебра, даже из золота. Чужие бывали округло-гладкие, великолепные, на глаз мягкие вопреки твердости камня или металла. Не таков был Перун, и не то было ему нужно. Бог слободской дружины явился воином, которому нужна не красота, а сила. Не угождать женщинам, а советовать и помогать мужчинам хотел Перун.

Под тяжелым шлемом хмурился узкий лоб, в глубоких глазницах под выпуклыми бровями сидели красные глаза – драгоценные лалы. Рот был как рана, усы длинные, вислые. На прижатых к телу руках торчали могучие мышцы, грудь была выпучена над впалым животом – признаком сильного мужества. Бог опирался на землю длинными ступнями. Он был гол, но вооружен – два меча, секира-топор, ножи. Дубовое дерево было искусно вырезано. Пальцы рук переходили в рукоятки мечей, в древко секиры – тело сливалось с оружием, нельзя было сказать, где кончалось одно и начиналось другое.

Вера в истинность изображения, сознание своей правоты и необходимости божества руководили создателем образа Перуна. Бог мужей вдохновлял и потрясал. Впоследствии, выйдя на площади градов, в священные рощи на холмах, Перун смягчился, облекся мягкой плотью. А здесь, на границе русского языка, он был необходимым образцом беспощадного мужества сторожа от Степи. Оттуда, с Юга, всегда шли войны, насилие, истребление. Ничего, кроме войны, насилия, истребления, нельзя было противопоставить кочевникам, чтобы сохранить род людей, возделывавших лесные поляны.

Это был бог близкий, понятный, земной. Воплощение покровителя, образец. В Перуне не было мечты о заоблачном мире Сварога, о вечной жизни души, о вознаграждении за боль, за муки, за смерть. Сварог был богом для всех людей, для детей, женщин и немощных стариков, размышляющих о конце жизненного пути. Сварог помогал воину надеждой встретить на небе друга. Перун звал к битве.

– Я обещал тебе бога и братство, – говорил Всеслав, обращаясь к Ратибору. – Вот твой бог и вот твои братья. Мы – дружина Перуна, один за всех и все за одного. Мы выше рода, мы сила русского языка, меч и щит. Не воля князь-старшин правит нами, а наша воля. Я князь дружины. Ты хочешь быть с нами, Ратибор? Клянись Перуном, Ратибор!

Произносились слова объяснений и обещаний. У ног Перуна разожгли угли, раздули маленьким мехом синее пламя. Светильники погасли, сквозь угольный чад был слышен запах раскаленного железа.

– Подними левую руку над головой, чтобы принять знак братства, – приказал Всеслав.

Ратибор видел, как из углей князь-воевода достал железный прут на деревянной ручке. Конец железа рдел звездочкой. Скосив глаза, Ратибор смотрел, как звездочка приблизилась к левой подмышке. Ожог, боль, запах паленых волос и горелого мяса.

Всеслав показал новому брату-дружиннику конец клейма, остуженного живым телом. Два меча, скрестившись, указывали на четыре стороны света, напоминая о вечной верности братству.

Дружинники подходили, обнимали нового брата. Готовился еще один обряд – клятву скрепят смешением братской крови.

На славянском севере, в лесах, богатых и простым и дорогим пушным зверем, в местах, обильно родящих хлеб и овощи на полянах, обнаженных топором и огнем, обычай побратимства ограничивался узким кругом товарищей. Несколько охотников, искателей новых земель и богатств, братались кровью, выражая крепость товарищества и обещая друг другу поддержку во всех трудностях жизни в нетронутых Черных Лесах.

По нужде воинственному Югу требовалось больше братьев, здесь спинами смыкались не двое, здесь были нужны стены десятков и сотен братьев.

Душа человека живет в ямочке на груди между ключицами, а его жизнь течет в крови. Смешение крови больше роднит людей, чем мужа и жену соединяют брачные объятия. Братство крови сильнее братства рода.

Надрезая пальцы, все дружинники спускали кровь в серебряную чашу, точили не щадя. Из полной чаши Всеслав помазал губы, грудь, руки и ноги Перуна. Остальное слил в пламя углей. Запах особенной гари поражал и запоминался навсегда. Так вознеслось свидетельство нерасторжимой связи дружины.

В слободе воевода жил в своей, воеводской избе. Она такова же размерами, как другие, в которых могут поместиться и тридцать, и сорок слобожан. Всеслава постель устроена близ двери. Около ларь с запасной княжьей одеждой, оружием. Все остальное место занято слободским запасом. Тут и оружие, которое для сохранности смазывают жиром, тут и одежда. Чтобы тля и червь не испортили рубахи, штаны, шубы, плащи, сапоги, запас перебирают, проветривают под присмотром самого воеводы.

Очага же в княжеской избе совсем нет. Зимы на Рось-реке не злые, а спать под шкурой сладко на любом морозе. Всеслав и зимой ходит с распахнутой грудью.

Воевода не бывал дома со дня хазарского побоища. Вскоре после обряда Всеслав взнуздал коня и поскакал провести ночь в роду, под родительской кровлей.

Дробно простукали копыта по пластинам моста через ров. Всеслав поднял коня через жерди, заграждавшие въезд от бродячей скотины. На скаку он спрыгнул у своих ворот, мигом отвалил тяжелое полотнище. Жена выбежала навстречу. Всеслав молча бросил женщине конец повода.

Краса разродилась, принесла мальчика, как вызнала заранее Анея-ведунья.

Отец осмотрел ребенка. Двухнедельный мальчик зло кричал в грубых руках – будто бы будет сильный парнишка.

С внешним почтеньем выслушал Всеслав длинную речь Горобоя об Анее и непослушном Ратиборе, думая про себя: «Эк, болтлива старость: где нужно пять слов, тратит десятки...»

Ночь Всеслав спал на лавке, оберегая жену, утомленную недавними родами. А Краса, тщетно прождав мужа в супружеской постели, заснула в злых слезах. Лились они втихомолку – женщина стыдилась мужа, тестя, домашних. Проснувшись под утро, Краса опять ждала, и опять тщетно.

На улице Краса со злобой глядела вслед мужу. Будь взгляды как стрелы, ему бы не выжить. Всеслав, как нарочно, ехал шагом и не оглянулся ни разу.

Старый Горобой нашел в своем незасохшем сердце новую ласку, весь день хвалил за каждую малость погожую сноху. И правда, Краса, оправившись от родов, на диво похорошела.

Доля женская... Да и отцовская доля пусть не так горька, да и не проста. Чтобы выкупить перед матерью своих внуков жесткое сердце сына, Горобой сделал у себя во дворе Красу полноправной хозяйкой. Второй сын Горобоя с женой и вдова третьего сына слушались Красу как старшую. Что же еще в стариковой власти!

Красе некому отдать свою волю. Всеслав не берет. Другому отдать – нет желания, о другом она и не думает. Крепок родовой уклад. Все-то на виду, все-то так слажено, что и в голову ничего, кроме положенного, не идет. Живет мечта о ком-то чудесном. Но за мечту женщина в ответе не бывает.

Огненный крестик на теле воспалился, опух. Опухоль быстро опадала. Для Ратибора такая ранка – дело пустое. Зверь поранит сильнее, когда его живого вынимаешь из тенет. В воинских забавах-уроках больше доставалось от меча, от дубины. Конец копья царапал больнее, тупая стрела била как камень, и долго мозжило битое место.

Крестик давал гордое сознание равенства с лучшими из лучших в слободе, кровь Ратибора смешалась с кровью Всеслава, и ныне они братья.

И парил и гнул Всеслав упрямого Ратибора.

– Не хочу я жениться, – упирался парень.

– Почему?

После хазарского побоища минуло полнолуние, один месяц умер, другой родился, идет ко второй четверти. Унялся пыл Ратибора, и ему стыдно ныне сказать: из-за хазаринки.

Неведомая женщина осталась в том прошлом, которое неутоленным желаньем держит человека невидимой рукой.

Такие чувства необъяснимы словами. Всеслав знал, что не с пустым упрямством он борется в сердце нового брата-дружинника. Долг перед родом обязывал князя.

Без грубости князь-воевода толковал Ратибору то же, что было ясно Анее и Горобою. Нерожденный ребенок все одно что павший в бою слобожанин. Семя зачахнет, род иссохнет, как дерево с источенным корнем. Не повелось еще в русском роду и самое малое дело валить на товарища. Был сыном – будешь отцом, и никто тебя не заменит.

Смирившись, Ратибор выговорил себе:

– Буду жить в слободе всю жизнь, как ты живешь, князь. И к жене буду не чаще ходить, чем ты ходишь.

Глава вторая Чтобы жило племя

*Концом копья искормлены.
«Слово о полку Игореве»*

1

Не пошел Ратибор сам к матери. Просил друга-дружинника, чтобы тот поскакал к граду, поклонился бы старой Анее и сказал, что сын по материнской воле согласен взять в жены ту девушку, что ему назначена. Смотреть же ее Ратибор не будет, для него любой выбор хорош, как мать скажет. Привез брат ответ Ратибору, чтобы ему быть дома в назначенный день.

В родах везде кончили жатву, свезли хлеб. Сварог дал и пшеницы, и полбы, и ячменя, и овса, и проса с горохом.

В такую пору лета росичи мелют новинку, пекут пироги, сидят¹ пьяное пиво из ячменя и свадьбы играют.

Росичи не бранились внутри своего рода. На такое зазорное дело не согласятся отцы и матери, его запретят князь-старшины. За самовольный брак из рода выгонят-изгоят. Изгой же – человек, лишенный рода, как ощипанная птица, как трава на дороге, ему каждый ветер в мороз, его любая нога потопчет. Так повелось издревле, от навых. На гуннском побоище у пятерых братьев-росичей гунны семейства погубили, младшие двое были еще холосты. Братья отправились себе жен добывать и силой умыкнули девок. А чтобы девки не убежали, чтобы их свои родовичи не отыскивали, братья далеко ходили, по-волчьи. Свой волк летом близ берлоги скотину брать никогда не будет. Отсюда и слово «невеста» повелось. Невест, не знает, без вести от своих осталась. Дальше так и шло, по отцовскому примеру, только ныне девушек не умыкали силой, а брали ведомо, по сговору из своих русских родов.

Конные и вооруженные чужие родовичи с Ратиборовой невестой привезли еще трех. Каждая на своей телеге въехали невесты в ворота. И – будто опять домой вернулись.

Кто видел один русский град, тот все видел. Такой же ров с тыном, из-за которого крыши не видать, такая же улица, те же глухие ограды с окнами-бойницами, грузные калитки, тяжелые ворота.

Невест встречали всем родом, все старые и малые – и посмотреть любопытно, и честь оказать надо. Встречали с криком, с хохотом, с общим весельем. Молодые парни тянули на веревке ручного медведя, потешно одетого мужиком: вот жених, чем нехорош.

Кони в телегах попятнулись от медвежьего рева и запаха. Здоровенные руки вцепились в оглобли: как бы не вывернулся свадебный поезд к бесчестию. Встречающие впряглись в лямки, устроенные сбоку телег, чтобы в трудном месте хозяин мог помочь коню, схватились за постромки, за оголовья, потащили и телеги и лошадей.

Городские псы, потревоженные шумом и громом, прыгали на улицу через дворные ограды. Увидев, что народ не дерется, не слыша хозяйского зова на бой, собаки сбились в глухой конец улицы и уселись мохнатыми глыбами, одни во всем граде безразлично-спокойные. По очереди свадебный поезд останавливался перед каждым домом, куда шла невеста. Из ворот выносили договорный выкуп за девушку: ткани или кожи, одежду, оружие или что иное. Выкуп вручался поезжанам открыто, при всех и по счету. Обеленную выкупом девушку-невесту поез-

¹ *Сидеть пиво* – старинное русское значение: варить пиво.

жане с рук на руки передавали отцу или матери жениха с приговором о том, что «наше стало ваше, а мы в вашу часть вступаться не будем».

И невеста в длинной белой рубахе, в венке из полевых цветов вступала в дом, где ей придется век вековать.

На улицу выносили столы и скамьи, тащили заготовленную снедь. Весь град был одной семьей, происшедшей от одного корня, к свадьбам готовились в каждом доме, не разбирая, в нем ли торжество или у соседей.

Пили, ели, кричали. Ребятишки покрупнее сновали у столов, наделяемые сладкими кусками, прихлебывая из общих чаш пиво и ставленный мед. Малые дети требовали своей доли, с кулачонками нападая на ноги пирующих.

Россичи умели подолгу обходиться без пищи, без воды. Охотники, уходя на три, на четыре дня, не брали куска из дому, чтобы не обременять себя ношей. Ленясь отрубить кусок мяса с добычи и испечь его в золе, ложились спать на голую землю, с пустым животом. Зато дома себе не отказывали в обильном столе.

Ели много и сочно. Мясо зверей и вольной птицы, мясо домашнего скота, мед диких пчел, густое молоко сильных, мало раздоенных коров, сыр и масло, лук, пшеничные, овсяные, гороховые каши, печеную брюкву, репу, морковь. Детей старались кормить жирнее и сытнее. Летом малые детишки мерли, как осенние мухи, трудно было ребенку перевалить через две первые весны. Зато и были выжившие на диво сильны.

За свадебным пиром взрослый мужчина, в одиночку орудуя острым ножом, приканчивал бараний окорочок на закуску. Передохнув, шарил несатытыми глазами и тянул к себе поближе корыто с печеными на раскаленных камнях окунями, линиями, язями и мягкой сомятиной, чтобы легкой пищей побаловать зубы. Деревянной ложкой хлебал жидкую студенистую гороховую кашу, щедро сдобренную цеженым медом. И тут, поди ж ты, в ноздри ударяло жгучим соблазном свинины. Из чьего-то двора хозяева, сами впрягшись в телегу, везли новую, с пылу горячую, только что доспевшую еду: свиные туши, набитые луком, целиком запеченные в яме, обложенной камнем.

Весело трещали бубны с натянутой на обрез вязового или ивового дупла желто-палевой скобленной кожей. Свистели-визжали сопелки – тростниковые дудочки на пять и на семь дырок. И ухало-рычало кожаное било, великий бубен. Его слышно верст на пять, в тихую погоду – на все десять. Это липовая двухохватная бадья. Било есть в каждом граде, его гул созывает родовичей в случае беды. А теперь, пользуясь праздничной вольностью, любитель могучего рева натянутой кожи то давал деревянными колотушками частую дробь, то гудел редко: ударит всей силой и прижмется ухом к бадье, опьяняясь звуком, чудовищно преломленным костями собственного черепа.

Чествуя новобрачных, родовичи славил Ратибора, восхваляли слобожан. Как же не возносить их! Таких стрелков да наездников нигде нет, и воины они умные, и воевода у них вещей, сам во всем первый из первых, да живет он два века!

Вдруг, как забытая в мотке шерсти игла, из добрых слов высунулось жало: слобода-де на наших кормах обороняет же всю Рось-реку.

Вспомнилось незабываемое. Все знают, почему россичи бедней соседей. И Павно, Ратиборов сосед по граду, буйно грозился во хмелю:

– Было при дедах, толкались мы с жадными илвичами-лежебоками за пойменные угодыя. Пора их так, так! – И Павно показывал, как взнуздывают строптивного коня. – И каничей так, так!..

Вот и солнце опустилось вполдерева – кончался длинный день. Уже утоптали сапогами и босыми пятками улицу. Не одна молодежь потешилась в быстром плясе, и старшие порастрясли туго набитые животы так, что хоть опять садись за столы. И садились, добирали остатки.

Солнца не стало. Всевидящее око Сварога сменилось миганием звездочек-гвоздиков, набитых на небесную твердь. Людям пора к покою, молодоженам – к честному делу.

Чинно, без шума разводят молодых к постелям. Вольный на язык, умеющий навек прилепить ядреное прозвище, для насмешки не упускающий самого мелкого повода, россич во многом и ограничен. Права рода, власть старших и отцовско-материнская, предки, могилы, боги, женская честь, мужская доблесть – с ними не шутят. Над брачным делом смеяться считают зазорным, бесчестным. За глупое слово тут же накажут. И больно, не скоро забудешь.

Запирают ворота. За тын уже ушли двое очередных сторожей, вооруженные мечами и копьями. Не в оружии сила охраны. С ними два десятка городских псов русской породы, из которых пара берет медведя и останавливает тура. Умные псы приучены немо бродить по окрестностям. Тревогу они поднимут не зря, а по настоящей опасности, защитят сторожей, дадут им отойти к граду. Так грады охраняются каждое лето, пока молчаливая осень не закроет степную дорогу.

В дальних углах амбара заслонами засыпано зерно первых умолов. Мерцает глиняный светильник на дощечке над корчагой с водой.

Провожавшие невесту и жениха остались во дворе. Мать вошла с молодыми в амбар. Шепча заклинания, Анея четырежды осыпала мужа и жену зернами пшеницы. Иное пшеничное зерно одно дает три колоса, в каждом же колосе десятки зерен.

Пятясь, Анея с порога бросила последнюю горсть. Заперла дверь, и сразу сделалось тихо. Новые пары размещены.

Широкая постель устроена посередине амбара – ложись с любой стороны. Снопам намолоченного хлеба уложены туго, вперевязку, в три ряда – почти на высоту пояса. На них – Ратибор узнал по запаху – мать настелила добрых трав. Их сухие пучки висели в клетях, томясь в тени и не теряя силы.

По снопам натянута ткань-ровнина, положено одеяло из спинок диких коз. Коричневое при свете дня, оно сейчас казалось черным, увеличивая и без того широкое брачное ложе. Смутно белели заячьи шубки, брошенные в изголовье.

Между Ратибором и Млавой еще не было сказано слова. Они и не нужны на брачном пиру, молчание молодых уместно как знак скромности и смущения. Успеют наговориться, оставшись одни.

Ратибор сел, снопы зашуршали, сминаясь под тяжестью тела. Млава подошла, опустилась на колени. Девушка знала обязанности жены, внушенные ей перед свадьбой дотошными во всех мелочах старыми женщинами, блюстительницами обычаев и правил рода.

Муж не воспрепятствовал жене стянуть с него мягкие сапоги. Он глядел на голову, покрытую тонким платком. Еще дома родные расплели девичьи косы и невеста оплакала свое вольное девичество. Млава пошла вымыть руки в корчаге с водой под светильником. Она, боясь неизбежного, сообщенного ей женщинами, таинственного, как все неиспытанное, медлила, плеща водой. Слабенькое пламя светильника колебалось от дыхания и движений девушки. В тенях взгляд Ратибора угадывал длинную женскую одежду, надетую впервые. На девичьем теле должна быть длинная рубаха, которую каждой девушке шьют перед браком, однажды в жизни. В ней же сожигают тело, когда женщина свершит свою жизнь.

Млава повернулась – Ратибор вспомнил, что не знает ее лица. Он не смотрел на невесту за пиром, не мог бы сказать, какого цвета у нее глаза. Теперь, мельком взглянув, он успел заметить очень светлые волосы. И еще, обладатель тонкого чутья, Ратибор уже знал, уже запомнил запах Млавы, ее запах иной, чем у других.

Глаза и волосы хазаринки были черные... Десятки дней минули, и кончилось колдовское очарование мертвой. Уйдя в день вчерашний, чары лишились власти, не жгли, не давили разум, не томили сердце. «Может быть, – думал Ратибор, – так рука привыкнет к обручью, подбородок

– к шлейному ремню, а тело – к парной тяготе доспеха. И сердце – к утрате». Утратить же, никогда не имел, – колдовская тайна, непонятная уму.

Невидимая, Млава шагнула к постели и остановилась, робея. И вдруг решилась. Ратибор слышал, как девушка за его спиной разбиралась. Зашуршали, шевельнулись снопы.

Было совсем темно, светильник едва мерцал, на нагоревшем угле фитиля плясала синенькая стрелка. Ратибор проснулся, как от толчка, очнулся от сна, как всегда, сразу, свежим, готовым к действию и зная, где он и что с ним. Так собака успевает проснуться, телом услышав содрогание земли, обонянием – запах дегтя и кожи, и успевает отскочить, ощутив шерстью прикосновение тележного колеса.

Ратибор сел. Будь не крыша, а открытое небо, он сразу узнал бы, сколько времени осталось до рассвета. Сейчас он знал лишь, что ночь еще длится.

Ночь еще длилась, и Ратибор очнулся не зря. Мать стояла перед ним. Ее присутствие разбудило сына. Старуха подняла руку и ударила Ратибора по темени, не сильно, сухим коротким ударом, как она его наказывала в детстве. Она только рукой била сына.

Приподняв опущенную голову сына за подбородок, Анея другой рукой указала за его спину, на Млаву.

– Я не могу. Не хочу, – сказал Ратибор. В соединении этих слов была ложь, которую он почувствовал сам.

Схватив сына за плечо, Анея заставила его встать. Они вышли. В темноте слышался храп; в соломе и сене, в распряженных телегах повсюду спали люди, как кому пришлось лечь после пира.

«Откуда она узнала?» – думал Ратибор. Он был уверен, что Млава ничего не могла сказать Анее. Анея узнала сама.

Со страстным упреком мать шептала сыну:

– Ты солгал мне, согласившись, ты опозоришь род. Ты знаешь, что ее отвезут домой. Ты хотел посмеяться над нами?

Поблизости пропел петух, ему ответили другие. Петушья перекличка прокатилась по деревянному граду, вернулась, сделала еще круг и смолкла.

– Ты слышишь? Последние, – сказала Анея.

Мать не спала всю ночь, понял Ратибор, всю ночь она зрила душой и вот пришла, требует.

Ратибор был прав: Анея, добившись своего, ждала. Она ведала коварство жизни. Сейчас она жалела, что не дала сыну любовного напитка. Это настойка порошка высушенных телец жучков золотисто-зеленого цвета. В первую половину лета их собирают по утрам с веток кустов, перед восходом солнца. Это напиток и смерти. Если дать выпить слишком много, человек умрет мучительной смертью. Анея знала меру, она сберегла бы сына. Любовный напиток будит желанье и придает силу даже слабому.

Когда женщины жаловались Анее на любовный холод мужей, их беде хорошо помогал тайный напиток. А в своем доме Анея не сумела помочь.

На град облаком навалилась предрассветная тишина. В этот час ухо человека не услышит ничего. Ночная тишина полна звуков, предутренняя – глухая.

– Иди, сын, иди, – сказала Анея.

В ее голосе не стало ни злобы, ни приказа. Она будто бы ничего не требовала, даже не просила. А Ратибор слышал: «Верши!» И вспомнил свое обещанье Всеславу.

Он пошел. Сзади мягко пристукнуло крошащееся дерево амбарных воротец.

Масло в открытой чашечке глиняного светильника почти выгорело. Огонек отошел с длинного носика к чашке. Масло разогревалось, сейчас оно вспыхнет сразу. Амбар на миг осветился. За стенкой по земляному полу тупо топталась лошадь; что-то беспокоило и ее.

Огонек еще шагнул. Вот он перейдет в чашку, и масло даст пламя. Пахнуло чадом от выгоревшего фитиля.

Ратибор помочил пальцы в корчаге и безжалостно убил трепещущую душу огня.

Коснувшись в темноте коленом острых комлей снопа, Ратибор распустил опояску и стянул с себя широкую рубаху с шитым косым воротом. Эту рубаху по обычаю Млава прислала жениху после того, как совершился договор о выкупе.

2

Видно, не только от гуннов сильно пострадали россичи. От отцов детям, от дедов к внукам передавались сказания об иных разорителях. И сказывавшие старые предания иной раз между собой спорили: будто бы и побоище, от которого только семь братьев остались, не гунны совершили, а какие-то другие степняки.

Гунны ли, другие ли, о разных ли набегах Степи говорили сказители иль об одних и тех же, но начинали все одинаково.

Та зима была злая, снег в лесах медлил уйти. Новый месяц зарождался красным, будто в страданиях покидая небесное лоно. Из степи волки подступали невиданной силой, вой их людям казался странным, необычным. Беда пришла в пору, когда молодая трава уже покрывает копыто коня до путового сустава, в лучшую пору для степи. Корм сочен, налитые весенними силами травы тучны и жизнотворны. Мошка, овод, комар только нарождаются и не мучают. Дни долги, а жары еще нет, солнце не изнуряет коня и всадника. Весенние воды сошли, броды доступны.

Тут-то и повалили с полудня туры по степной дороге. Стадами, быки первыми, туры входили в реку, плыли тесно, и людям приходилось видеть, как турихи толкали рогами туренок, поднимая детенышей над взбитой в пену водой. Размесиши туры берега и ушли. Куда? В припятские леса, где живут пятнадцать больших рек, а рекам малым и ручьям счета нет. Столь обильно воду рождает земля, что иной порой реки там останавливаются и вспять подаются, как Рось в половодье.

Походя туры травили хлеба, россичи же, пораженные множеством зверя, не решались их гнать будто бы...

Бежали из степи козы, бежали лисы-огневки и малые собачки-корсаки. Журавли летели на полночь, дрофы путались на лесных опушках. За ними навалилось степное войско.

Далее сказители расходились в рассказе, споря между собой. У некоторых получалось, что в те поры много славян жило по ту сторону Роси, на Турьем урочище, и еще далее к югу. Одни бежали вслед турам в водяную припятскую крепость и там поселились навеки. Другие остались биться за могилы отцов. Из них не более семидесяти уцелело от побоища. Остались в живых они лишь потому, что шли вместе, умели ударять сразу, будто одной рукой, умели отбиться вместе, как одним щитом.

Что раньше случилось? С кем сражались россичи? Из десяти русских родов семь считали себя происшедшими от семи братьев, а три называли себя потомками Скифа или скифами, хотя ни речью, ни обличьем, ни обычаем не разнились от других. Ни у кого не спросишь, некому решать споры между сказителями. Одно лишь видно, как солнце на небе: сила нужна, и не простая, а откованная воинским умением и закаленная, как жесткое уклад-железо.

У россичей за слободой на ровном месте устроены щиты из мягкой липы, каждый высотой в сажень, длиной – в три. На щитах сажей, разведенной в конопляном масле, нарисованы всадники.

Стрелку́ рука нужна! Чтобы была рука – не пропускай дня, не натянув тетиву. Перед липовыми рисованными щитами много слез глотают подростки, начиная слободскую жизнь. Вся трава вокруг стрельбищ вытоптана в поисках потерянных стрел. Как рассветет – стреляй и

стреляй. Меняются жилые тетивы, снашиваются рукавички на левой руке, избитые ударами. По времени привыкает рука, развивается глаз. Дальше, на третий рубеж, на три сотни шагов отходят стрелки. Отсюда рисованные тела нужно так поразить, чтобы из пяти стрел четыре шли в воздухе, когда впиается первая. Тогда ты настоящий стрелок. Сам, гордясь мастерством, будешь стараться дня не пропустить без стрелы.

Каждый славяно-росский подросток (девочки тоже берутся с луками) самодельными стрелами бьет мелкого зверя и птицу. Каждый взрослый умеет натянуть боевую тетиву. В руках слобожан лук становится страшным оружием дальнего боя, а вблизи, шагов на сто, слобожанин пролижет козу, а в тура или в тарпана – дикую лошадь – вгонит стрелу до пера.

На север от Рось-реки земля поделена между братскими ролами: на юге, за рекой, земля ничейная. Туда слобожане других родов отряжались ездить на телегах ломать пчелиные борти, ловить по ручьям и речкам рыжих бобров-плотиностроителей.

У илвичей-соседей тоже много охотились за зверем, копили припасы, для товара выделывали шкуры и меха. Такие слободы были выгодны родовичам.

Росские слобожане не тянулись в дикое поле за бортами и шкурами. В латах-доспехах, чешуйчатых от нашитых на толстую кожу конских копыт, с мечом или секирой на перевязи, со щитом на левой руке, с копьем в правой, колчан и лук за спиной, а нож за сапогом, они учились ходить стайей, не разрываясь. Учились бегать одной стеной, поворачиваться как один. Остановившись по приказу воеводы, передние сразу метали копья, за ними задние бросали свои. И, закрывшись щитами, обнажали мечи и бегом нападали все разом, все сразу, будто катилось одно многоголовое, многожальное чудо. В других слободах жизнь шла повольготнее.

Каждый, и мужчина и женщина, умел ездить верхом, держаться в седле и без седла, править уздой. Воин должен уметь править только ногами, освободив руки для боя. Еще с Всеслава Старого в росской слободе повелось искусство развивать силу ног. Дают камень с пуд, обшитый колеей. Его нужно держать, коленями стоя. Быстро устают ноги, камень падает. Подними и держи. Большой и большой камень дают, доводят груз до четырех пудов. Зато слобожане не нуждаются в поводьях, конь идет по одному приказу ног. Сожмет слобожанин ноги, чтобы наказать коня, – мутятся от муки конские глаза, трещат ребра, и, коль не углядет, конь валится на землю.

С коня, как с твердой земли, били стрелами, метали копье. Скакали одним строем, колено с коленом, шли ниткой в затылок и сплошной лавой лошадиных грудей и боевых щитов. Коней обучали ложиться и мертво лежать с прижатой к земле головой.

Тяжела воинская наука для новичков. Их заставляют бегать с мешком на спине: мешок на лямках, в мешке – песок. Груз камня между коленями, как и груз песка на спине, доводят до четырех пудов. В реке плавают подолгу, не считаясь со студеной веснами и осенью водой. Строптивых нет.

Воевода Всеслав опирался на кровных побратимов. Тайное побратимство повелось будто бы еще до Всеслава Старого, предшественника Всеслава нынешнего. В каждом роду можно найти мужчин со следом каленого железа в тайном месте, под мышкой. Когда весь род россичей, собравшись на погосте, всем миром судит о делах, побратимы, сговорившись заранее, дружной поддержкой могут добиться своего.

Деревянный град еще не очнулся после празднества. Заспались пастухи, в хлевах мычала скотина. Ратибор не стал дожидаться утренних обрядов, не захотел сесть за стол со всеми. С первым светом он вывел коня, слова не сказал потянувшейся было к нему Млаве, не попрощался с матерью.

Загремели бревешки мостков через ров. И полетел всадник, не касаясь поводьев, без узды – на коне было лишь конюшенное оголовье. Скакал, будто единое тело мчалось. В пустой след посмеялись ночные сторожа мужу, спешащему от молодой жены, как от осинового роя, и,

пустив на волю собачьи своры, сами бегом побежали к граду. Подгонял их не голод, не желание скорее воспользоваться остатками сладкого пира, а любопытство: не случилось ли чего непригожего под крышей ведуньи Анеи в первую брачную ночь сына?

Пустое было любопытство: Млава и другие новобрачные вышли честными перед мужьями и своим новым родом. А мужу сидеть ли пришитым к бабьей сладкой рубахе, скакать ли по полям и лесам – то знать самому.

Стащив оголовье, Ратибор пустил коня в слободской табун и полез через тын к себе домой, в родное, любимое место. А ведь пять или шесть весен тому назад было иное. Суровость слобожан, жестокость воинского обучения, насмешки, на которые подросток не умел и не смел ответить, – жизнь была горька, как полынь. Клеткой была для него слобода, и в этой клетке он ходил злой, будто хорек на цепи. Окрик, тягота, смертная истома к ночи. И не хватало ночи, чтоб выспаться. Бывало, что иной подросток так и сгорал без болезни, никем не замеченный, никем не пригретый.

Если теперь Ратибор и вспоминал трудные годы, то лишь с гордостью. Родной дом – слобода, и другого не нужно.

В слободе, как всегда утром, пусто, все за делом. Дверь во Всеславу избу была открыта. Ратибор заглянул и услышал дружественный окрик: «Э-гей!»

Воевода сидел на широкой лавке, покрытой шкурой. Ратибор сел на порог.

Всеслав рассматривал кривой хазарский меч. Клинок тускло осветился в лучах солнца и бросил зарничку в темный угол. Голова воеводы была в тени, со света Ратибор видел только ноги, обутые легко, в постолы-калиги. Кусок кожи, выделанной мокрой дубкой, был обжат на колодке по форме ступни. Четыре ремня, два спереди и два в заднике, удерживали калигу и, обвивая ногу до колена, прижимали к голени широкую штанину.

Хотя Ратибор не видел лица воеводы, он знал, что тот смотрит, читает в нем. Скрывать нечего, воля рода-племени, воля воеводы исполнена честно, без обмана.

Всеслав прервал молчание:

– Пойдем позвеним-ка мечами.

Сняв рубахи, оба вышли во двор, голые по пояс, каждый с двумя мечами. Обоерукие воины. Не каждый владел этим искусством. Заметив в Ратиборе хорошую способность к оружию, Всеслав сам обучил его.

Воевода был телом много мощнее, Ратибор еще не вошел в полную силу мужчины.

В одну руку Всеслав взял русский меч, прямой, тяжелый, заточенный с обеих сторон, длиной в полтора локтя, считая с рукоятью. В другую – хазарский меч, кривую саблю, тонкую, на четверть длиннее меча. Ратибор вышел с двумя хазарскими мечами.

Меряясь взорами, они встали на четыре шага грудь от груди. И оба все забыли для заманчиво-опасной игры. Первым Всеслав сделал шаг, прикрыв грудь мечом и отведя саблю для удара.

Бросив тело вперед с саблей, Всеслав, казалось, пробьет Ратибора. Но тот, отклонив левым мечом клинок, правым мелькнул над плечом Всеслава. Отбитое железо плеснуло вверх. И тут же вновь и вновь лязгнуло, покрывая обоих мельканием ломано-гнутого клинков.

Сторожевые на вышке забылись, глядя на красоту боя. Покажись у рва хазары, и их не заметили бы. Сами воины, они, затаив дыхание, были готовы увидеть, как сразу, оба иссеченные, изрубленные, пронзенные, падут обоерукие бойцы. В метании тел и железа было притягательно-страшное, как колдовство, заклинание силы.

Не расходясь, не отдыхая, по двору слободы клубом вертелось четверорукое чудовище, сверкало, брэнчало.

Раздался звонкий вскрик железа, и над вышкой что-то свистнуло. Воевода и его излюбленный воин остановились. В правой руке Ратибора осталась одна рукоять. Перешибленный отбивом меча хазарский клинок сломался и отлетел, едва не поразив сторожевых.

Облитые потом, тела бойцов влажно блестели. На плече Всеслава сочилась кровь из длинного пореза.

– Красно биться стал ты, красно, – одобрил воевода.

Ратибор подошел, высосал ранку. Кровь не выплюнул – братская кровь святая.

Всеслав развел руки, оплетенные толстыми мышцами; темное, как земля, тело вздулось узлами и буграми. Воевода глубоко вздохнул. Пот щипал ранку, нужно приложить жеваных листьев болотной сушеницы. Ратибор рвал в избе лекарство из заготовленных пучков.

Да, бьется парень, как муж. Круто ему пришлось с постылой свадьбой, но не должна кончиться им одним такая сила, нужна она роду и братству.

Один из сторожевых сбежал с вышки, достал и принес отломленный клинок. Отдать кузнецам, пусть сварят железо попрочнее.

Ратибор приложил листья сушеницы к порезу, ловко прикрепил их тонким мочалом. Первый раз, соревнуясь с воеводой в двоеруком бою, он отметил противника. До сих пор бывало иначе. Он не знал, что Всеслав нарочно поддался. У кого много нежности, у кого – мало. Каждый дает, сколько может и как сумеет.

Так минула короткая Ратиборова молодость. Да и детство у тех людей было куда покороче, чем у их дальних потомков. Не у одного Ратибора годы текли зло, исполненные суровости жизни. И других гнули много, били, ковали. Под беспощадно-настойчивым боем тягучее железо твердело, глина же разлеталась пыльной трухой.

3

Еще вчера на легких паутинках летали малые паучки, цеплялись за подсохшие былки, за ветви, за усы, за брови и, пробежав по лицу, пускали новую нитку, чтобы дальше лететь...

Дождь принялся, как сказали сторожевые, с ранней ночи. Будто сеяли его через мучное сито, наземь сыпались тонкие брызгочки-капельки. От них сединой пробивало коричневую шерсть козых плащей и внизу, с отреза, с длинных косм текли струйки.

На утоптанном щебнем слободском дворе грязи нет. Вода, еще не успев насытить хрящеватую почву, проходит внутрь кургана, как в губку. И в глубоком колодце еще не помутнела вода, как мутнеет зимой. Перехватывая одубелую, крепкую от воды веревку, слобожанин вытягивает бадью хрустально-прозрачной влаги. Вода свежа, холодна, чуть пахнет пенкой. Поставив бадью на закраину сруба, человек пьет и уступает место другому.

Хмурится день. Между небесной твердью и землей протянулся влажный пар – оболочка земли. Нынче сверху уже не увидишь, что творится внизу. И снизу вверх тоже не видно. Слышишь, как тихо дышит земля, засыпая. В ее дыхании, как и в человеческом, движется душа. Уснет – и дыхания почти не станет.

Ни в хмурое утро, ни в зимние ночи нет покоя человеку. Он несет в себе колючий ком беспокойных желаний, не знает, даже после совершения лучшего из задуманного, тихого покоя земли.

Ныне русский воевода одному отдался – иметь совершенное оружие своей силы; воинов самых смелых, искусных, послушно ему преданных, как пальцы руки.

Мелкий дождь сеется на длинные волосы Всеслава, мелкие капельки копят на длинных усах. Поднимая бадью, он пьет, держа на весу двухпудовую тяжесть, как берестяной ковш.

Вволю напившись, слобожане артелями едят кашу из молодой крупы. Каша крутая, холодная – варили вчера ввечеру, – и ложек не надо. Глодают твердый сыр из варенного с телячьим желудком творога, режут ломтями мясо. Насыщались быстро, как придется: кто сидя, кто и стоя.

Поспешая, выходили из изб вооруженные по-охотничьи – копье, нож за голенищем, колчан с двумя десятками стрел и лук. От дождя лук спрятан в чехле из кожи, промасленной костяным жиром.

Полный каплею воздух пахнул мокрой землей, жухлой травой, лошадьё, крепким мужским телом, дубленой и сырмятной кожей. Для Ратибора то был не сравнимый ни с чем запах слободы – без прелости хлева, дымно-избяного чада и смрада градских нечистот.

У некоторых слобожан были свои излюбленные лошади, больше же ловили и брали, какая попадет под руку. Балуга и притворяясь, что пугает узда, молодой жеребец захрапел, попятился, тесня других лошадей. Хотел взмахнуть на дыбы, но опоздал: в ноздри клещами впились руки. И, послушно скаля зубы, жеребец принял железо уздечки, покосился на человека, лебедем вывернув шею, выкатывая глаз в кровавых жилках на яблоке, но укусить не посмел. Он живо помнил науку, помнил, сколько быстрой, жестоко-повелительной силы скрывается в теле двуногого.

Снуя в ручном, но всегда взволнованном табуне, слобожане седлали коней и верхом выезжали к Рось-реке. Лошади, скользя на будто салом смазанном склоне берега, упирались на задние ноги. Вслед им несло ржанье – оставшиеся прощались со своими.

За лето река открыла брод-перекат. Всадники кучно вошли в воду, которая едва достигала путового сустава лошади. Дно было сложено галькой с намытым песком. Уши наполнились особенным плеском речных струй под копытами. Рось влажно пахла рыбой, водорослями, со степной стороны дубовая роща посылала аромат своих чар. Сила коня и твоя, братья кругом, и впереди день охоты – всем было вольно и счастливо.

Вслед всадникам через Рось переправлялись шесть телег. Телеги длинные, колеса высокие, почти в рост человека. На таких только и ездят по лесным полянам, лугам, мелколесью и степи. Телеги шли за охотничьей добычей.

От реки слобожане, разминая коней, пошли широким шагом, потом вскачь, потом опять шагом. В ту пору лошади выезжались на шаг и на скачку, другого хода у них не бывало. Всадники, как привыкли, ехали походно, по два в ряд, и тесно, на хвосте. Чередуя шаг и скачку, добрались до Турьего урочища. Здесь ныне нет дозора, пусты землянки. Набегов не жди, скоро зима, степные люди сидья сидят, и россичи ездят в степь невозбранно.

От Турьего урочища взяли правее, на закат. Местами были заметны следы тележных колеи. Они кончались у взлобка. Здесь были подкопы, виднелась желтовато-серая, жирная под дождем земля. Сюда россичи и все их соседи ездили за славной белой глиной для корчаг, горшков, блюд, тарелок, бокалов, детских куколок и разных свистулук. По левому берегу Роси, в лесу, нигде не бывало такой пригодной для гончарных дел глины. И приходилось за ней ходить в дикую степь.

Недалеко за белоглинными раскопами в глубокой балке, густо заросшей лесом, тек ручей Тикич. Всадники не стали ломиться в балку, а поехали опушкой на полдень, имея Тикич на правой руке. Налево же развернулось высокое, очень ровное место. До самого края были по степи разбросаны дубы, редкие, кряжистые, корявые, каким бывает дерево, растущее в одиночку. Оно тянет более вширь, чем вверх. Дубовая степь – будто кто здесь сеял дубы, редко бросая желуди на волю степного ветра. В жаркую сушь с сухими грозами Сварог молниями побил лес. Много здесь было бугров от пней, заросших землей. Тут осенью любили пастись дикие быки и коровы. Никого не боится степной тур – ни сотенных стай волков, ни лесного медведя. Осенью туры уходили ближе к лесам, покидая выжженную, вытопанную степь и опасаясь единственного врага – гололедицы.

Россичи расчетливо и бережно брали туров, туры много давали славянину. Из рогов делали луки, рукоятки оружия, гребни для волос, для чесания пряжи и шерсти, вытачивали и вырезали застёжки для рубах, кафтанов, полушубков. Толстая шкура шла на подошвы, а хреб-

тина была незаменимо хороша для доспеха. Толщиной в полтора пальца, с нашитыми копытами или железными бляхами, хребтинные доспехи отбивали и меч и стрелу.

Из турьей кожи выгибали шлемы и подшлемные шапки, делали кожанцы-калиги. Мясо солили и коптили впрок. Турьи мытые кишки набивали вареным мясом с салом, сохраняя так пищу надолго. Туша убитого тура вся шла для дела.

Ветер дул с севера и с полуночи. Слобожане сделали длинный объезд, чтобы охватить туров с полудня. Среди турьих стад паслись дикие лошади-тарпаны разных мастей, разных статей. Одни по виду ничем не отличаются от русских, другие же с длинными седлистыми спинами, с головами большими, тяжелыми, как коровьи. Считали, что тарпаны повелись от одичавших, отбившихся лошадей. От века ходили по степям разных языков люди, от века бились в степях и в предстепнях. И всегда разбегались кони, потерявшие хозяев. Говорили же, что на Припять-реке, по островам среди болот и озер живут дикие люди-сыроядцы, которые кутаются в невыделанные шкуры и забыли, как добывают огонь. Тоже бежали когда-то от беды и забились столь далеко, что не нашли назад дороги, одичав на безлюдье. Тарпанов руссичи охотно били для мяса: оно вкуснее, чем мясо дворовой лошади.

Туры паслись и паслись, а тарпаны, подзрев всадников, забеспокоились. Вот табунок голов в десять бросился по ветру в балку Тикича. И уже с той стороны послышалось ржание жеребца-хозяина, собиравшего своих. Там и сям убегали тарпаны, а туры, по своей силе не столь осторожные, глядели на всадников и опять опускали головы, срывая траву.

Утренний серо-дымный полог небес прорисовывался летучими горами, дождь иссякал, становилось яснее. Сделался виден матерый бык на холмике. Он, уставившись на людей, равнодушно катал жвачку по горлу.

От места, где находились сейчас слобожане, до балки ручья Сладкого, где побили хазаров, расстояние было верст восемь, если идти прямо на восход солнца. Далее, отойдя верст на двенадцать, начиналась днепровская пойма камышистыми болотами и топями да глубокими старицами от древних русел Днепра.

За спиной слобожан Тикич поворачивал прямо на юг и верст через шестьдесят вливался в Синь-реку. Между Тикичем и днепровской поймой по сухим плоским гривам, размежевающим безыменные балки безыменных ручьев, лежали пути из степи на Рось. Туры, кони и люди с телегами – был ход всем и всему. Оттуда летом тянуло бедой. Осенью же приходили дикие стада будто выкупом за чинимое степью злосчастье.

Всадники ехали шагом среди турьих стад. Приближались люди – и коровы с телятами неспешно отходили вправо, влево, куда придется. Быки косились и тоже отступали. Не от праха. Присутствие чужого теснило вольного зверя.

Небо расчищалось, ветерок сушил степь. Слобожане растолкали туров. Под молчаливым нажимом всадников голов до сорока туров отступили к северу, к краю леса, где летом жил дозор.

Всадники двигались изогнутой линией, края шли быстрее, а середина отставала, будто напряженная тетива. Туры перестали кормиться, телята жалась к маткам. Быки, их было шестеро, начали сердиться. Двое уставились на всадников, будто и первый раз их заметили. Задний, поменьше, опустил голову и негромко взревел. Другой молча и медленно шел на людей. Вдруг он заревел еще громче, мощнее, чем первый. Несколько туров с телятами скачками прибежали на зов.

Горяча себя, быки били копытами землю. Потом, наклонив головы, грозя рогами в полтора локтя, быки поскакали на всадников. Коровы спешили следом.

Слобожане бросились в стороны, открывая в своей цепи широкий проход. Туры уже разогнались до скорости, с которой умеет соперничать не каждая лошадь. Они не искали боя, шли прямо, стрелой.

Пропустив их, всадники замкнули цепь. А туры, прорвавшись, замедлили скок. Быки теперь шли сзади, охраняя коров.

Между лесом и охотниками оставались четыре быка, с десятков коров, голов пятнадцать молодняка.

Думая за зверя, Ратибор понимал, что и зверь набирается мудрости от житейского опыта, судит сам по себе. Чего-чего не встретится стаду, которое бродит в степи от Теплового моря до самых чащ приросских лесов! А эти, видно, еще никогда не встречали человека вплотную. Может, только в их крови, как и в крови Ратибора, живет голос воспоминаний, переданных от предков. Ничто не поможет диким быкам.

В полуверсте от опушки звери остановились. У быков заклокотало в стесненных гортанях, длинные хвосты с темными метелками шерсти на концах били по ребрам. Молодняк жался к старшим.

Как воины, выстроились быки, и было видно – ни один не отступит больше назад. Пришел час выкупа за власть над самкой, над стадом, за мощь тела, похожего на глыбу дикого камня, за веру в себя. Пора платить собой, расставаясь с вольностью жизни, с былыми волнениями любви, со степным простором. Было, было все, и нет ничего, кроме битвы.

Всадники приближались. Понимая самое легкое давление ноги, незаметный для глаза наклон тела всадника, кони переступали шаг за шагом, спокойные, послушные, усмирненные однажды, но всегда помнящие силу колен человека, удар его кулака между ушей и полосу жгучей боли от плети.

Сближаясь со Всеславом, Ратибор о чем-то попросил, и воевода закричал:

– Не бить заднего!

Самый большой бык ждал боя чуть сзади трех других.

Толчком одной ноги всадник поворачивает лошадь, другой ногой удерживает. На сжатых коленях человек приподнимается над седлом, чтобы дать свободу нижнему усу лука. Сообразив силу ветра и откуда он тянет, стрелок растягивает тетиву до уха и метит в левый пах быка. Оттянутая средним и указательным пальцами, тетива срывается будто сама и щелкает по кожаной рукавичке, защищающей левую руку.

От звяка тетивы, от шмелиного гуда уходящей стрелы конь вздергивает голову. Может быть, он умеет увидеть в полете прорезь стрелы в кресте оперенья?

Конь стоит, подобрав задние ноги под круп, собравшись, готовый ответить новому приказу всадника. Нет приказа, и конь продолжает глядеть.

Стрелок должен знать, как ветер снесет стрелу. Он целил в пах, но стрела уходит под левую лопатку тура. Издали оснащенный накрест серо-белым гусиным пером конец стрелы кажется маленькой птичкой, куличком-воробьем, прилепившимся к турьему боку.

От укола бык взбрасывает тяжелый перед, прыгает и падает. Да пошлют Сварог, навьи и роданицы, что заботятся о человеке, каждому воину такую смерть. Не гнить в гнусной старости, не валяться в поле без ног с перебитой спиной, не чахнуть на рабской цепи, исходя бессильной злобой под палкой надсмотрщика. Укол в сердце – добрый укол.

Летели стрелы слобожан, приученных попадать в бычий глаз или в середину груди человека на три сотни шагов. Не прошло времени, нужного хорошему бегуну, чтобы пробежать эти сотни, как на ногах остались лишь пять-шесть молодых и старый тур, пощаженный по приказу воеводы.

Несколько слобожан гнались за крупным телком, годовалым бычком. Он побежал было, потом, опомнившись, храбро наставил уже заметные рога, чтобы побиться, как играл в стаде со сверстниками.

Слобожане не играть собрались. Два аркана взяли шею храброго бычка, дернули: он упал, вывалив длинный, широкий в конце язык. Его оттащили к лесу, чтобы крепко привязать к дереву, а потом, когда приедут свои, к задку телеги.

Не гулять ему в степи, но быком он будет. Опилят страшные рога, в ноздри прoderнут, чтобы смирялся от руки человека, железное кольцо. Будет он реветь, пугая и неробких страшным зыком, и кругом будут ходить с поднятой щетиной громадные русские псы, готовясь прийти на помощь пастуху, если бык сорвется.

Стодвадцатипудовый зверь с подгрудком чуть не до земли отдаст хитрому человеку самое дорогое, что в нем есть, – свое племя. Потому-то так и сильны серо-бурые русские волы, так молочны и мясисты коровы, что хозяин не дает им мельчать, плодясь между собой, а умеет влить в свои стада вольную кровь, не изнеженную готовым кормом и теплым хлебом.

С гиком и свистом закружились слобожане перед оставленным в живых быком. Зверь тяжело метался, мечтая подцепить докучливых противников на острый рог. Всадники увертывались, уводя быка от бойни, соблазняя надеждой нанести удар.

Гнев лишает разума равно человека и зверя, учили старшие. Взбешенный тур уже без расчета бросался за всадником. Измучившись, он остановился. Бока вздымались, черные от пота. Раздутые ноздри впивали запах недоступных врагов. Ратибор видел, как катались карие яблоки глаз, слепые от ярости.

Спешившись, Ратибор бросил повод товарищу и побежал к быку. С разных сторон спешили туда же еще пять-шесть слобожан. Превращение высоких преследователей в короткие двуногие фигурки удивило тура. Ему и вправду не доводилось видеть пеших людей. Сегодня для него вид и запах человека сопутствовали лошади, а с лошадьми он никогда не враждовал. И эти маленькие существа казались ему не страшнее волков, которых он никогда не боялся.

Всеслав опередил Ратибора. Подбежав к быку почти вплотную, воевода свистнул и хлопнул в ладоши. Тур ответил точным и смертным ударом рогов. Но Всеслав успел высоко прыгнуть. Мелькнув над рогами, воевода хватил быка кулаком по гулкому боку. Тур хотел повернуться. Всеслав, опередив, схватил его за заднюю ногу, дернул. Грузная туша мускулов и костей рухнула наземь.

Перекатившись на спину, тур бешено ударил задними ногами. Всеслав отскочил, внимательный и спокойный. Бык перевалился на брюхо, оперся, прянул. С сизых губ текла слюна. Тур ревел не так, как до сих пор. Оскорбленный, он кричал об убийстве. Услышав такой рев и далеко в поле, каждый невольно оглядывался, выбирая убежище.

Двуногий опять перед ним! Обидчик или другой, тур не различал более. Нагнув голову, он ударил не целясь. Достать рогом или каменным лбом – все равно.

Ратибор не уклонился от удара. Он обеими руками уперся в лоб и, помогая себе размахом турьей головы, перевернулся над спиной быка и встал на ноги сзади.

Пусто перед туром. Все изменило от гнева: и нюх, и глаза, и быстрая сила. И опять перед ним двуногие, опять он бьет – все напрасно.

Коноводы, зная, что пешие товарищи не пустят к ним быка, с восторгом следили за игрой.

Товарищи кажутся им тонкими и хлипкими рядом с быком. Бык мечется, мечутся люди. Тур ищет, кого ударить, люди не ждут, рога бьют мимо, мимо, опять мимо! Вот достанет? Нет, Всеслав ловит быка за хвост, рвет назад, вбок.

Ратибор повторяет свой прыжок, но иначе. С разбегу ударив ногой в бычий бок, он летит через него, как камень из пращи. Всеслав пригнулся. Ратибор пролетел над ним, а воевода прыгнул верхом на тура, оседлав, сжал ногами. Бык заметался под непонятым грузом.

Лошадь, если волк вскочит ей на спину, умеет упасть, подмять зверя. Тур не знал лошадиной науки. Он прыгал, взбрасывая перед, подкидывая зад. Слабые, неумелые попытки избавиться от человека, который может сжатием ног сломать лошадиные ребра. Чувствуя страшное давление, тур остановился и закинул голову, пробуя достать рогом спину. На него набросились со всех сторон, тянули за хвост, хватили за рога. Могучим движением шеи тур освободил голову. Сейчас он наконец-то ударит, убьет!

И вдруг все кончилось. Новый слобожанин, держа в обеих руках гибкие прутья, вмешался в игру. Он сечет быка по глазам. Тур сжимает веки, отмахивается вслепую, но прутья бьют, бьют. Бык пятится, издавая уже жалобный рев. Он забыл о человеке, оседлавшем его, не чувствует, что тянут за хвост. Он ослеп.

Так никогда не бывало. В густом мраке ночной степи, в крошечной мгле лесных пущ глаза все же видят. Под градом мелких ударов тур еще сильнее сжимает веки. Хочет открыть глаза и не может. Впервые его ноздри полны запаха человека, впервые уши слышат голос человека, и навсегда этот запах и эти звуки будут соединены с воспоминаниями о слепоте.

Бык отступал, побежденный. Так мальчишка-пастушонок смиряет взбесившегося домашнего быка, так смирился и тур. В его реве звучала жалоба на бедствие тьмы, вызванное всемогуществом двуногих. Как человек, так и тур не знал своего часа, не знал, что решалось: жить ему или пасть. Крук захотел не игры, а боя. Один на один, и меч против рогов. Другие возражали: тур заплатил свое игрой, он устал. Воевода решил, что мяса ныне взяли довольно.

Коноводы подали лошадей спешившимся товарищам. Последним прыгнул в седло слобожанин, бросивший наземь измочаленные прутья.

Тур открыл глаза. Вон там стоит кучка всадников. Если он бросится, через полсотни прыжков он сможет напасть.

Русские верили: Сварог заботится о живых и о мертвых, навьи помогают своим, роданицы голубят новорожденных, но свой путь и свою долю выбирает человек сам, своей волей. Так пусть и тур выбирает. Нападет – его встретит меч в честном единоборстве. Уйдет – пусть идет с миром. Боевая игра сблизила людей и зверя. Он казался не таким, как остальные туры.

Он стоял, думал, свесив тяжелую голову. Широколобый – между рогами добрых две с половиной пяди – можно сесть. Тяжелый подгрудок доставал до низкой травы. Спина казалась горбатой, так круто падал острый хребет к узкому крупу. От горячего тела быка шел пар.

Нет, ему довольно. Будто не видя людей, тур повернул на полудень, где верстах в десяти, может быть, и ближе, среди редких дубов и бугров, паслись его родовичи. Они ничего не знали, не испытали ужаса ослепления. Тур пошел к ним. Вслед ему слобожане погнали нескольких телят, малых, пощаженных в бойне. Тур не обернулся на людской свист и гиканье. Увидев быка, телята сами припустились к нему. Похожий на матку, окруженную приплодом, тур, перевалив через гриву, исчез.

Добычу разделявали на месте, сдирая теплую шкуру. Туши грузились на телеги, к запасным постромкам припрягали верховых лошадей. Иначе не увезешь добычу и по гладкому, как избяной пол, лугу.

4

И лето давно умерло, и осень ушла незаметно. Со дней осеннего солнцестояния идет третья луна, и Морёна-зима легла во всей своей стылой мертвости. То снег, то дождь ледяной упадет еще холоднее снега.

Голы буки, вязы, липы, осокори, ольха. Кустарники торчат метлистым прутьями. По черной коре сочатся токи холодной воды. Возьметса мороз, и деревья одеваются льдом, в хрупких ветках разбойно свистит полуночный ветер.

А потянет с полудня, и, как из бани, закрывая небо от края до края, паром накатываются низкие облака, цепляются за деревья, сползают на землю. Становится тихо, и голос глохнет в тумане. В слободском дворе стоишь будто в поле, близких изб не видать, не видно и сторожевой вышки.

Зимой вышка бесполезна и служит случайным притоном для вороватых ворон и обнаглевших сорок. Если кто и заберется наверх, цепляясь озябшими пальцами за осклизлые ступени лестницы, что он увидит сверху! Разве придется заметить ему невеселое зимнее диво, как

наползает по росской низине низкое облако, гонимое ленивым ветром. Оно движется, утопляя деревья, наполняя овраги. Застелив всю округу, облако подплывет к слободе, перельется через тын. Утонули крыши низких изб, нет ничего. Подобие воды, слабо и мягко волнуясь, затопило весь мир. Остался ты на вышке один. Вправо еще струится сквозь дым острая голова каменного бога. И она нырнула. Лишь вдали черными островами маячат на буграх верха сосновых роц. Утомленный неизвестно чем слобожанин лезет вниз.

В дубравах упрямые дубы никак не хотят полностью расстаться с летней одеждой. Здесь ветру отвечает железный шорох коричневых листьев. Внизу роятся кабаньи стада, кормясь желудями, лакомясь корешками, сочными и зимой.

А образ Сварога смотрит, не отрываясь, в степь. Неизменный Сварог зимой виден яснее, пока в мороз не покроется его лик ледяной личиной.

В заводях Рось-реки, в озерах и в болотинах, полувысохших за лето, прибывает вода от дождей и талых снегов. Повсюду в мертвых желто-серых камышах проломаны кабаньи тропы, везде натоптано острыми копытами. Белые корки камышей сладки не только для зверя, но и для человека.

В слободе подростки ворочают мечами тупыми, чтобы по первой неловкости не порубить товарища до увечья. Спрятав левую руку под щит, машут тяжелыми еще для них клинками. Еще и еще. Удар, отбив... Удар, отбив... Стучат щиты, лязгает железо. На теле синяки, темные пятна от побоин. Пусть. Молодые меньше будут бояться железа.

Светлеет день – идут стрелять. В безопасное от набегов зимнее время легкая шестовая лестница заменена наклонными пластинами с тесовыми ступенями.

Вперемежку бегают с заплечными мешками, набитыми песком. Земля скользкая, снег или грязь. Беги! Чем труднее, тем лучше обучится воин.

Мечут копыта и в одиночку, и рядами. Каждый должен попасть в свою цель. Кидают арканы, ловят петлей друг дружку, развивают силу ног камнем. Летом молодой слобожанин, сев верхом, дивится своей новой, великой силой. Зимой верхом почти не ездят, сберегая коней. Слободской табун велик – в нем более четырехсот голов без жеребят. Все живое тощит зимой на скудном подножном корму. В табуне овес и ячмень задают только жеребым маткам.

Вечерами, теснясь у закопченных очагов, слобожане едят жадно и много. С насыщением приходит истома. На низких полатах, на мягких медвежьих, козьих, овечьих, лисьих, волчьих шкурах тепло и вольготно. Продух над очагом закрыт на ночь для тепла, пахнет дымом, жареным и вареным мясом, мокрой шерстью от одежды, навешанной для просушки. Снаружи слышен ветер, дождь шумит на пологой крыше. Кто-либо из старших, из умелых в речах, начинает рассказ. Передает, что сам слышал, добавит, если сам видел. Уже темно, зги не видать, слова льются и льются.

– Отсюдава идти челном вниз по Рось-реке, так до устья, где наша река в Днепр втекает, будет верст за шестьдесят. На груженом даже челне да ладье можно за день проплыть. Назад же, против течения, плыть будет дольше, и грести нужно сильно, и шестами толкаться.

Сама Рось не прямо течет. Вскоре от нас она дает колено верст на двадцать длиной и все на север да на север. А от конца того колена и до Днепра рукой подать. Против нашей реки на Днепре большой остров, песчаный да высокий, его полая вода никогда не топит. Звать его Торжок-остров, на нем-то и стоит издавна весенний торг с купцами.

Кто же того не знает! А слушать хорошо. Слушают.

– В Рось-реке вода прозрачная, черноватая. В Днепре-реке вода мутная, желтоватая. Приняв Рось-реку, Днепр-река течет будто бы верст триста между востоком и полуднем. Островов много. И что ниже, то больше воды в Днепре. Он слева в себя принимает много рек. Главные из них будут Супой, Сула, Ворскла да Орель. И все-то реки большие, каждая больше Рось-реки. А по правой стороне, по нашей, рек нет и нет на все триста верст. Потому – степь воду

плохо родит, в ней рощи, да ручьи, да ручьишки... По левому же берегу леса и леса. Чем далее к востоку и северу, тем они гуще. Дорог там нет никаких посуху, по воде лишь. И левый берег Днепра низкий, по берегу поймы заливные в болотах и озерах. Ни пешему, ни конному там нет никакого пути. Мягким берегом – топь, твердым – крепь лесная...

Вот и ходят степные люди правым берегом к нам на Рось-реку, другой из степи к нашей земле нет дороги...

Этот Днепр-река, который течет на триста верст меж востоком и севером, кончается большим озером-разливом. Верст на двадцать пять то озеро-ильмень разливается, чтобы Днепр сошелся с многоводной Самарь-рекой.

От Самарьского ильменя Днепр поворачивает прямо на полудень. Верст через семьдесят набегаёт на остров лесистый. И тут его спирают каменные берега. Со дна торчат большие, величиной с избу и более, камни, и поперек стоят каменные стены-заборы. Течение такое, что ни один пловец не одолеет, ни одни гребцы не пошлют челн против него. Весной камни-пороги покрываются водой, в узости можно пройти. И подняться и спуститься можно. А летом да осенью челны вытаскивают на землю и волокут волоком десять верст. Здесь-то степняки и нападают на проезжих.

После узости Днепр еще шире становится, на нем остров большой, лесистый, Хортица, а по левому берегу заводь верст на сорок, в заводи камыши, как лес. То устье Конь-реки разделяется несчитанными руслами, как в болоте. Место дурное, им не идут ночью, а только днем и держатся правого берега. Отсюда Днепр течет на закат. И между закатом и полуднем верст на шестьдесят. Правый берег низкий, острова большие, и Базавлук-река тут впадает через большие болота. После еще верст сто тридцать плыть до устья Ингулец-реки. Днепр здесь широкий, и пять и шесть верст, и островов много. А дна не то что шестом, не достанешь и камнем на длинном аркане. Между островами дорогу нужно знать, струя путь не покажет. Тут Днепр идет тихо. После – Днепр-Конец. То разлив перед Морем, шириной верст на пятнадцать, и там справа Буг-река входит. От нее верст через двадцать Конец сужается верст до семи. И уже Море видно. Что за Море? В Конце вода сладкая, пить можно. Ближе к Морю вода горчит. В Море вода горькая. Пить нельзя. Жажды не утолишь, а ума лишишься.

Там есть каменный город с каменными же стенами. Ромейский город, зовут его Карикинтия. Есть там еще город Ольвия. Ромеи живут по берегу моря, по-ихнему Море – Понт Евксинос. Много ромеев живет в крепких городах по Морю, есть там Корсунь-город, Пантикапея, Фанагория. Обитают они только по Морю да по речным устьям, далеко внутрь земли никуда не уходят. Кто в тех городах живет, тот ромейского закона слушается. А около городов живут разных языков разные люди...

...А на восток да на север от Рось-реки и Днепра живут люди нашего языка – вятичи. А по сю сторону Днепра живут тоже люди нашего языка. Зовутся по своим родам они каничи, илвичи, россавичи, ростовичи, хвастичи, ирпичи и много-много других...

Все мы люди одного языка славянского, Дажьбожьи внуки, пошли от древнейших родных братьев Славена, Скифа, от Росса, вечно мы здесь жили, и здесь мы зародились от века...

Гаснет голос рассказчика. Далекый вой нарушает покой ночи. Оборотень ли бродит? Или души своих или чужих, чьи тела остались без погребенья, печалются своей жалкой доле?

Со стоном и свистом рвется с холодных небесных полей злой ветер, бьется о мерзлую землю. Спит слобода.

Дни похожи один на другой. Вечером вновь журчит рассказ:

– Воин-ромей в бой идет с грудью, с ногами в чешуе кованой, в железных или медных латах-доспехах. Колчан носит на правом боку, меч – на левом. Ромейский меч короче русского, зато прочен, на конце широк, к рукояти уже, чтобы удар тяжелее был, колет он или рубит, все

одно. Копья у ромеев короткие, в рост человека, мечут хорошо. Стрелки же плохие и тетиву не могут тянуть туго.

Женщин ромеи не чтят, и ходят те, как замороженные лошади: в работе они безысходной. Идет куда, на спине тащит ребенка, или хворост, или другой груз, руки же заняты: вяжет. Но есть и красавицы, стройные, как кленок молодой, волосом разные, русые, красноволосые. Есть и черные, глаза – угли, тело же белое, как лебедя пух... Много, много у ромеев ярого золота, серебра звонкого, меди красной и желтой. Вина их сладкие из винограда-ягоды. Не сочтешь камней-самоцветов, одежды красивой, оружия, утвари. Кто ромеев бил, тот добычи унести не мог...

В низких приморских степях еще есть хунны, силы в них былой уже нет совсем. Хазары же живут и ходят со стадами на восток от Днепра. Их земля степная на много дней пути будет. За ними к югу живут аланы, ясы, косоги. От них на восток и на полудень стоят горы крутые, высокие. Горы поросли непролазным колючим лесом и подходят прямо к морю. Такие там обрывы, что если человек упадет, умрет в воздухе ранее, чем разобьется о морской бережок. По горам есть тайные тропы. Кто их не знает, тот, забредя в горы, навек остается. Ромеи по морю ходят, в горы не поднимаются. Пути через горы сто дней и еще сто дней. Кто из слобожан видал горы? Нет таких.

Как урок, повторяет рассказчик науку о мире, заученную с голоса других таких же:

– За горами живут персы. Молятся они огню неугасимому да двум богам, черному и белому, ночному и дневному. У их богов равная сила. Белый – добрый к человеку, черный – злой. Мертвых они не сжигают, а бросают тела в высокие пустые башни на растерзание хищным птицам. У персов нет князей, а есть один князь-хан великий, им он бывает от отца к сыну или кто сам власть захватит силой через войско. От века персы воюют с ромеями и ромеи – с персами. Не те ромеи, что живут у Днепра по Морю, другие. Ромейская земля лежит за Морем. Поморские ромеи оттуда выходцы. Если от Днепра-Конца идти на запад берегом Моря, через верст двести будет большая река Днестр, оттуда берег Моря поворачивает на юг, и через триста верст будет Дунай-река, больше всех рек, какие есть на свете, больше Днепра. По краю Моря Конец дунайский на двести верст. По берегу нет пути, болота и многие устья. Нужно обойти на твердую землю верст на двести тоже и переправиться через Прут-реку. От нее на полудень же будет Серет-река. От той реки еще верст более трехсот идут на юг и тогда лишь переплывают Дунай. И по Днестру и после живут владельцы уголичи, тиверцы, вязунтичи с речью для росичей понятной. За Дунаем же все языки во власти ромеев. После Дуная берег Моря поворачивает на восток. Там длинная стена каменная, ее охраняет войско. На один день пути от стены стоит великий град Византия. Там живет князь всех ромеев, он зовется базилевс – император романорум. Ромеи богаче всех языков. Если на войне не могут победить, то откупятся золотом и дорогими товарами. Войско они посылают большое: и двадцать тысяч воинов, и сто тысяч. Служат у них воины за жалованье и за добычу. В земле ромеев много каменных городов.

Все было понятно, и пути по земле, и воинская сила, и разные языки. Но как передать, чтобы слобожане узрели стены, сложенные из тесаного камня во много локтей высоты! Никто из росичей не видал иных строений, кроме бревенчатых изб и тына, не видал иных строений и рассказчик, но, увлеченный невиданным, продолжает:

– Дома из белого камня у ромеев. Внутри двор, камнем мощенный, тенистый. Там вода бьет струей вверх и освежает дневной зной. Высокие храмы, согласозвучное пенье. Площади, яркие ткани и вещи, которые неизвестно зачем сделаны. Сосуды из прозрачного, как вода, стекла. И статуи, мужчины, женщины, каменно-твердые, а видом такие живые, что тело богини вводит в соблазн...

Утомляется внимание. Необычная работа ума действует будто снотворное снадобье.

Сон наполняется видениями. Спящий пробуждается не то с криком испуга, не то желания. Он сам не знает.

В утренних просонках слобожанин помнит, как его душа, вспорхнув, поднялась над землей. И он, такой же как въявь, летел высоко. Без крыльев, скрестив руки, сжав ноги, он одной волей мчал себя быстрее ястреба, который преследует голубя в невидимой громаде воздушных волн.

Внизу, далеко, ему виделось сверканье рек на зелени степей. Невыразимо, как стена, возвышалось лазоревое чудо Теплых морей, не давая прохода в белокаменный город. Теснилась грудь, и он видел себя будто со стороны и боялся: упадет. И не падал. И более не страшился полета.

Поднимался выше, восхищенный видением безбрежности света. Он за Морем. Пора опуститься и овладеть великим городом. Но тянет и тянет невидимая ниточка, привязанная к оставленному телу. Он скользит вниз. Движения замедленны, он тяжелеет. И вдруг – страшное падение с высокой горы, беспмятство. Удар! Он слышит голоса товарищей. В открытую дверь льется мороз. Пора вставать и браться за воинскую науку. А вечером снова:

– Скажи, что за люди ромей?

Поняв смысл вопроса, рассказчик собирает слова. С трудом.

– Из людей всех жесточе они: таковы по породе и от ихнего бога... Не сами, а рабами, купленными да взятыми с боя, землю пахнут... Ремесленничают не сами, а рабами же. В наказание своих и рабов терзают железом, огнем жгут до смерти... Речью лживы: не один язык у ромея – десять... Почему такие? Жадны они, несытые от века. От жадности и богаты: себя не любя, все по золоту томятся.

Не верится, нет, поверить нельзя. Спрашивают:

– Чего ж рабы не убегут? Чего ж сами ромей не разбегутся?

Того и рассказчик не понимает. И отвечает попросту:

– Некуда им убежать...

5

В первой половине мглистого дня четверо всадников пробирались округ полян на север от Рось-реки. После зимнего солнцеворота миновала вторая луна. Постылая всему живому Морёна-зима дотягивала последние скупые деньки.

Кончалась зима обычная для приросских мест, с нечастыми морозными днями, со снежными бурями, вдруг сменявшими пасмурную хмурость дымных туманов и серых дождей. В лесах еще лежали низенькие кучи ноздреватого снега, грязного от опавших чешуек коры, до земли пробитого тропками звериных следов. На распаханых полянах мертвые корни стерни и слабые корешки озимых ничуть не держали разбухшую землю, казавшуюся угольно-черной. Нога глубоко вязла в земле. Так и пробирались всадники – кружась по дерновым опушкам.

Росские уголья повсюду прерывались сплошным лесом, сбереженным от порубок. Лес сводили с умной опаской: не продолжить бы степную дорогу. Дикий, пугающий вид имели грозные валы лесных засек, непроходимые и для человека, не только что для степного коня. Деревья валились с расчетом, вершины ершились во все стороны – сразу не растащить, не прорубишь. Четверо всадников делали объезды, колесили, чтоб добраться до скрытых мест, где в засеках находились хитрые проходы. Через лазейки можно было пробраться спешившись, ведя коня в поводу. Только привычка укладывать в голове паутины кривых путей, привычка помнить мельчайшие приметы родных мест позволяла россичам находить нужную дорогу. Чужак же, сколько ему ни рассказывай, безнадежно бился бы, как муха в паутине, об извилистые засеки, блуждал бы среди деревьев и вязнул в ручьях, закрытых зарослями малинника, калины, смородины, орешника, колючей боярки.

Всадники встречали стада, пасшиеся на скудных остатках мертвых трав по опушкам лесов и в самих лесах. К концу зимнего времени пилой заострились хребты, обручами вылезли

ребра. Быки, укрошенные голодом, стали смиренны, как волы. В русских стадах много турьей крови – в зимнюю бескормицу домашняя скотина, обрастая ключьями сизой шерсти, принимает дикий, тревожный вид. При виде всадников медлительно поворачивались большерогие серые головы, осмысленно смотрели прекрасные глаза. Будто бы помощь дадут новые люди...

Приедено сено в стожках, ставленных в зиму. Избранных стельных коров взяли в хлева. Быки, волы, холостой молодняк пусть пробавляются сами. Сильный телом и умом выживет, слабый да тугоумный пропадет.

Пешие, в шапках мехом вверх, в длинных плащах, вывернутых от дождя, пастухи сами были похожи на сильных и страшных зверей. Луки, колчаны и мечи растопыривали плащи, копыя торчали, будто длинные бивни единорогов. При виде всадников пастухи поворачивались еще медленнее, чем коровы. Иной лениво махнет рукой: у слободских-то кони еще ходят под верхом.

На опушке небольшой распаханной поляны слобожане остановились. За жердевой оградой стоял рубленый домишко, из сеней которого, коротко взлаяв, как по зверю, выскочили два пса русской породы. Косматые защитники, грозно ошетилив хребты, уставились на чужих. За псами из темных, как жерло очага, сеней выставились руки, державшие туго натяженный лук. Потом показался и лучник, готовый спустить тетиву. Увидев людей, человек ослабил тетиву и ловко подхватил тяжелую стрелу. Одет он был в узкую рубаху из выделанной кожи, шитую хазарским покроем, и в хазарские штаны. Шагая босыми ногами по шишкам застылой земли, как по ровному полу, хозяин подошел к ограде.

– Здравствуй, князь, – назвал он Всеслава не принадлежащим воеводе титулом. – Обознался я, будто зверь подошел. Они, – пошутил человек, кивнув на псов, – на тебя голос дали, как на медведя. То к добру. Удача тебе будет.

Прискучив теснотой градской жизни под началом князь-старшин, иной россич, илвич, канич уходил на вольную жизнь. Трещину стала давать крепкая жизнь в крепких родах. Земель хватало. Забрав своих, выходец устраивался на свободном уголье. В отличие от изгнанников за преступление закона, добровольно покидавшие род назывались извергами от родовичей. Извергу приходится только на себя рассчитывать, слабому легче за род держаться. Из сильных был и Неугода, у дома которого остановился Всеслав. Умелый добытчик руды из болот и знатный кузнец, Неугода доводился родовичем воеводе. Из рода он ушел весен пятнадцать тому назад, по ссоре с Горобоем.

– Готово ли? – спросил воевода мастера.

– У меня готово всегда, – ответил Неугода. – Сейчас возьмешь или пришлешь?

Неугода по сравнению с другими русскими умельцами отлично умел выделять жесткое уклад-железо. Полагаясь на искусство слобожан в стрельбе, Всеслав копил и копил стрелы. Лучшими насадками считались изготовленные Неугодой. За работу слобода расплачивалась по условию. Давались крупы, зерно, которое воевода отрывал из получаемых на кормление слобожан. Взяв на побитых хазарах много мягкой рухляди, Всеслав снабдил Неугоду одеждой.

Изверги держались слободы. Теснимый каким-либо князем, изверг решался просить заступы у воеводы. Как и родовичи, изверги посылали сыновей в слободу. Всеслав принимал.

– Погостить едешь? К богам да старшим собрался? – спросил Неугода.

Всеслав кивнул. Изверг положил на колено всадника черную от угля и железа не руку – лапу медвежью и, глядя снизу, сказал:

– Меч ты наточил, стрелы наострил. Чего ж тебе! Перун за тебя. Дерзай, князь!

Одолев последнюю неслитаную засеку, всадники выбрались на круглую поляну. Деревья обрамляли место ровной стеной, сразу обличая руку человека. Поперечник поляны был шагов в триста. Травы здесь росли сильно, как в местах, где не косят и не пасут скот.

На западном краю поляны поднимался холм, круто и полумесяцем срезанный с восточной своей стороны, открытой к поляне. К срезу холма был пристроен неширокий навес, опиравшийся спереди на бревенчатые столбы. Дерновая кровля, продолжая темя холма, срослась с ним, и засохшие стебли трав свешивались с нее, как мертвые волосы. Внутри стояли низкие скамьи и были устроены очаги. Кое-где лежали небольшие поленницы сухих дров, заготовленных с осени последними посетителями погоста.

Этот особенный дом, без передней стены, узкий и длинный, изогнутый, как бы ушедший под холм, годился людям только как временный приют, ибо люди здесь не хозяева, а лишь гости. Потому-то и назывались священные места славян, устроенные у всех племен по одному образцу, погостами. Хозяева же и владыки здесь – боги, общие всем людям славянского языка на Руси и к северу от нее, по всему Днепру.

Повелители славянской небесной тверди стояли полукружием, спиной к холму и лицом на восток. Они не хотят тесноты, им не нужны крыши, они любят вольный воздух. В середине – Сварог-Дажьбог высотой в три сажени, рядом с ним – Хорс. По правой их руке – семь навьих – пращуров славянских, по левой – семь женщин – прабабок. То радуницы-роданицы, боги-души воды, лесов, легкого воздуха.

Все боги глядят на восход солнца, и все они добрые, злых среди них нет и не бывало. Не только глазами россияч видит каждый образ своих богов внутренним оком. Боги россиячей добры и дивно-прекрасны. Мастера, творившие видимый облик богов, умели найти тайну красоты, свойственную одним россиячам.

Слобожане спешили, каждый поклонился богам, как кланялся отцу, матери, князю, – низко-низко, доставая пальцами правой руки матушку-землю, которая знает правду человеческого сердца.

Из уважения к погосту воины тихим шагом провели коней краем, к нижнему концу навеса, где была коновязь. Конь – чист, его гошенье на погосте вместе с людьми не противно богам.

Зимами россиячи навещали погост лишь по особым, как сегодня, случаям. Зимний солнцеворот праздновался каждым родом отдельно в своем граде. Бури намели снег, который, подбившись в затишные места, лежал зернистыми полосами там, куда не доставало солнце. В черных, голых вершинах буков, вязов и лип свистел ветер и, завихряясь на поляне, гнул высокие быльи.

Всеславу боги были немыми, но внимательными друзьями. Он знал: ни Сварог, ни Хорс, ни навьи не могли сказать ему слова, не могли сдвинуться с места. Да и не нужно это было. Обитатели погоста зримо обозначали душу славянского языка. Они, говоря с совестью русского воеводы, связывали его душу с его делом и были ему нужны, как впоследствии знамя стало нужным бойцу.

Не мешая задумавшемуся воеводе, его провожатые устроили в ближнем очаге костерок, вырубив огня. Дым, помедлив, метнулся вправо, влево, как человек, не знающий выхода. Потом потянул под кровлю, заструился наружу и вверх, срываемый ветром с края дерновой крыши.

Пахнуло родным запахом дома. Очаг с его запахом, с теплом, с верхом, черным от копоти, был священ для россияча, в нем совершалась добрая тайна огня. Когда очаг накалится, а внизу накопятся пыльные уголья, хорошо жарить вкусное мясо. Любо слышать ворчанье котла с варевом. Лепешки и хлебы испечет умелая рука в золе. А потом под пеплом дремлющий огонь будет ждать всю долгую ночь, пока на рассвете его не растормошит дыхание меха в руках хозяйки.

Ратибор лег перед очагом. Хорошо лежать перед огненным челом печи, любясь изменчиво-дивным трепетаньем огней. Скоро голова Ратибора опустилась на руки. Побежали, поскакали человечки, пешие и конные. Запрыгали маленькие огненные зверьки. И текли и вились

живой речкой по ведовскому челу очага. Знакомо все. Так в детстве совершались огненные чудеса, так вершатся они и сейчас равно и для тяжелого, могучего телом, твердого душой Крука, и для не менее мощного телом и тонкого душой Ратибора. А поймать бы человечков, наловить бы зверьков или лучше пуститься вместе с ними светлыми тропами огней, полететь, не чувствуя тела. И уже совершается такое легкое, такое простое усилие рук, ног – происходит само. Не забыть бы, как летают... И рвется завеса между сном и явью, нет ни огня, ни живущих в нем человечков.

Щерб набрал охапку сырого былья, бросил в очаг. Сгустился и почернел дым. Напрасный труд, казалось бы. Ветер прибьет и развеет дым, едва он дойдет до верхушек деревьев. Обычай же тверд: первый, кто прибыл на погост, обязан пустить дым, чтобы знали – в святилище есть люди. Растянувшись, Щерб сразу заснул рядом с товарищами.

Кони понуро дремали на привязи, забыв погрызть жердь коновязи. Всеслав сидел на брошенном близ очага седле. Скрестив ноги, воевода смотрел, не видя, на черные от дождя спины богов.

«Одной речью говорят все славяне, – думал Всеслав, – живет одним обычаем весь славянский язык от Роси до Припяти и далее – до самого Холодного моря. Что же тогда есть род, в чем же тогда родовая особенность, к чему она? Среди россичей семь родов ведут себя от семи братьев, а три, будучи во всем россичи, своим предком называют Скифа. Живут же вместе с россичами, не с каничами, хотя каничи все называют себя скифами. А есть ли между россичами и каничами, между всеми разнозванными племенами Поросья хоть в чем малая разница? Нет. Так для чего одни от других отделяются? Повсеместно уходят изверги, разрывая родство. Роды же между собой ссорятся за покосы в общей для всего племени пойме Роси. У кого много девок, хотят к себе зятей брать. У кого мало девок – просят большой выкуп. В чем залог россичской общности?» – спрашивал себя Всеслав, укрепляя разум к встрече с князь-старшинами. И отвечал: «В слободе лишь. Лишь в братстве мужчин всех десяти родов. Из слободы идет связь через старых побратимов, давших клятву Черному Перуну россичских воинов...»

Истлела дымная трава в очаге, от громады рдеющих углей дышит жар. Темное лицо князя кажется железным. Спящие слобожане грезят, как малые дети. Молодым все известно, все просто.

Блюдя честь-достоинство рода, каждый князь-старшина не первым хотел прибыть на погост для суждения о деле общем, обдуманно медлил против условного часа. Но день-то один для всех, еще ночи дожدهшься. Так все сочли свои пути, что к погосту вышли чуть ли не все десять сразу.

Все же первым приехал друг Всеслава Колот – верхом и один. Конными и тоже без провожатых явились Дубун и Чамота. И тот и другой князь-старшины возраста хоть и зрелого, лет под пятьдесят, но свежи, сильны. И эти – друзья. Будучи слобожанами, они перед Черным Перуном скрепляли побратимство. Всеслав знает их мысли, они ведают желания воеводы.

Отдавая предпочтение опыту долгой жизни, россичи не всегда избирали стариков для управления родом. Будет все ладно, и Колот, как Дубун с Чамотой, состарятся не в ряду, а в княжестве.

Прибывали к погосту и старцы. Утомленного старика Келагаста провожатые сняли с коня и под руки провели к месту. Отец Всеслава Горобой сам слез с коня, но пошел, раскорячив натруженные ездой ноги. На телегах бы ездить старцам, но по зимнему бездорожью нет хода на колесах.

Поэтому зло глядел Велимудр, все кости которого ныли. Беляй и Могута скрывали досаду, а Тиудемир ворчал, жалуясь на беспокойство: подождать не могли, пока не подсохнет

земля, долго ли ждать-то?.. Плавик же досадливо шурился, пряча глаза под седыми кустами бровей.

Старики... Они уже преодолели боязнь земного, быстротечного бытия. Любовь к жизни гасла: жила вызванная этой любовью вера в бессмертие духа.

«А ведь ни один не уступит княжество младшему, сильному телом, бодрому духом, – думал Всеслав. – Много знаний у старости, кто ж оспорит право старейшего? Разума много, но разум тот сух, как подсеченное дерево. Обычаем, памятью держится русское племя. Новому же нет места в обычае».

Князь-старшины подходили, кланялись друг другу в пояс. Каждый брался обеими руками за горячий свод очага в знак почтения к огню-сварожичу. Все вместе князья приблизились к богам. Перед Сварогом положили на землю оружие: княжеские секиры-чеканы на роговых рукоятках, насеченных золотом и серебром. Провожатые стеснились сзади князей. Келагаст, чей род считался от старшего из семи братьев, прочел молитву к Сварогу. Без клятв, без словесных украшений, не обижая бога возвеличиванием, не оскорбляя себя унижением, Келагаст говорил Сварогу о вечной дружбе тверди земной и тверди небесной. Напомнил о душах предков, общающихся с богами на русском небе.

По праву стариков, которым уже видна граница земного бытия, Келагаст говорил Сварогу о скорой с ним встрече в заоблачной жизни. Просил же Сварога лишь об одном: чтобы он вместе с другими богами побыл на погосте, где нынче собрались князья в заботе о русском племени.

Едва Келагаст кончил, как его провожатые прибежали с головнями из очага. Келагасту подали белого петуха, ноги и крылья которого были связаны мочалом. Острым ножом Келагаст снес голову замершей птице. Окропив петушиной кровью ноги Сварога, старик бросил в огонь жертву. Затаив дыхание, все вслушались. И Колот уверенно сказал:

– Я слышу, слышу!

И другим послышался в шуме ветра новый звук, будто вдали громынуло. Сварог принял жертву.

Князья расселись вблизи очага по старшинству родов. Выше всех, то есть против чела печи, дали место Келагасту, справа от него – Горобю, род которого считался от второго брата. Третьим сел Велимудр. Тиудемир, Чамота и Могута оказались в конце – их роды вышли от Скифа. По левой руке Келагаста сидел Всеслав, в знак подчинения слободы общей воле всех десяти князь-старшин.

Местами на погосте – и больше ничем не считались между собой русские роды. Собраться же для общего дела племени не на погосте не согласился бы ни один.

«Власть...» – думал Всеслав. Трое его слобожан наблюдали издали. Нельзя спать при старейших во время совета. И Крук, и Щерб, и Ратибор равно знают намерения своего князь-воеводы.

Князь-старшины величественно-спокойны. Лица стариков темно-коричневые и зимой: старая кожа навечно выделана солнцем и ветром. Усы цвета мокрого снега опускаются на грудь. Волосы на голове подрезаны прямо, и под концами прядей видны шеи, худые, иссеченные оврагами морщин. Пальцы как корни.

«Кого боги любят, тот умирает молодым», – вспоминает Всеслав присловье ромеев. Не о долгих годах жизни лукаво-умные ромеи сложили присловье. Ветхость души, сумерки разума, темнота сердца – вот настоящая старость.

Взор Келагаста светел, разумен. Всеслав знает, что и Горобой поймет воеводу не одной привязанностью отца к сыну.

6

Молодым не положено судить о больших делах, молодые ждут поодаль, не слышат речей старшин. Тленные образы нетленных богов-покровителей терпеливо стоят на погосте.

– Вся на нас да на нас ложится тягота из степи. Думайте, князья! Не удержит слобода, погибель будет россичам. А задних, гляди-ка, насытившись нами, степняк и не тронет.

Всеслав бередит, твердит свое. Для того и слобода, чтобы не пускать степняков. Ведь не изменишь ничего. Так было, так будет. Не бросать же изначальные вотчины да лезть на глухой левый берег Днепра. Верно, там степные не ходят. Там от разлива-озера днепровского, от Конского луга дремучие леса, в лесах большие реки, во много раз полноводнее Роси. От Конского луга – Самарь, через полдня – Ворскла, через день – Псел, потом Сула, Супой. А между реками топи, болота, калуги мочливые. Хоуда там нет. Путь с юга на север идет между Ингульцом и Ингулом. Здесь ручьи с хорошими бродами помогают водопоями, лесных чащоб нет, тут можно проехать телегами на высоких колесах. Дорога из степи выходит напрямиком к россичам, на слободу.

На княжеских съездах не принято перебивать. Говори сколько хочешь. Зато и не жалуйся, коль неудачное слово твое тебе же прямо в око вернут, как стрелу. Терпеливы слушатели Все-слава. Не зря, думать надо, ныне воевода напоминает общеизвестное. Куда привести хочет он?

Левее россичей живут каничи. Их поляны с юга граничатся Росью, с востока – Днепром, с запада – землей россавичей. Людми каничи почти вдвое слабее россичей. Правее по Роси до реки Ростовицы живут илвичи. Они числом сильны, в их племени двадцать три рода против россских десяти. Воинского же порядка у илвичей мало, слобода у них слабая. Не к чему им держать много слобожан. Против илвичей Рось течет болотисто, тот берег густо лесом зарос, в лесу овраги, горы, кручи. Там ход только охотнику, да и тот измучается. Ведя коня под выюком в руках, он едва прoderется от полянки к полянке. Там ручьи в ставленных бобрами запрудах и летом пухнут в разливах.

Илвичи живут как за стеной. Для них степняки станут опасны, лишь когда сомнут россичей, не ранее. О задних же племенах росского языка и говорить нечего. До самой Припяти они слободки держат скорее для раздоров, чем для общей обороны от Степи.

Слова воеводы будят тревогу. Велимудр поправляется на месте, чешет усы когтистыми пальцами. В памяти шевелятся образы, будят желанья, такие же неясные, как образы. Будто бы он сам когда-то о чем-то мечтал. Как женщина, которая ищет конец запутанной нити, старик ловит непослушную мысль. Ветер не достает под навес, в затишке пахнет горячими камнями очага. Келагаст внимательно слушает, забывая усталость, накопленную долгими годами. Давно уж он без страха и сожаления думает о дне, когда проснется в иной жизни. Старику хочется покоя. Но пока человек жив, он должен трудиться.

Не полагаясь на память, Всеслав разворачивает узкий свиточек кожи-пергамента и читает: взрослых мужчин у илвичей двенадцать сотен и сорок три человека, у каничей же – пять сотен и семьдесят восемь человек. «Смотри-ка, – соображают князья, – всех счел воевода. Посылал считать, думать надо...»

Князь-старшина Дубун сказал:

– Стало быть, илвичи будут сильнее числом и нас и каничей.

– Зато у них слобода мала, у них и слободские не так обучены стрелять, мечом биться, – ответил Колот.

Встрепенувшись, Келагаст спросил:

– Что? Свару с илвичами хотите затеять? Обид от них не было нам, или я не знаю?

В пору Келагастовой юности случилась у россичей ссора с илвичами. Дрались, кости ломали, пускали кровь одни другим, жгли спелые посева.

Будто зная, что за Рось-рекой беспорядок, налетел из степи малый загон каких-то до той поры невиданных людей и наделал много беды и россичам и илвичам. Несчастье помогло – закончили драку между собой, чтобы прогнать степняков.

– Прошу я, князья, – говорил Келагаст, – доколе живем, не позволим быть ссорам-злосчастью между русским языком.

– Не к раздору я зову, – возразил Всеслав, – другое у меня на уме. Доколе будет владеть нами несправедливый уклад?! Из всего русского языка наибольшее бремя несут россичи. Первый удар – нам. Наибольшую дружину в слободе держать кому? Нам. Прошлым летом на кого кралась хазары? Нынешним летом на кого нацелятся? Виноваты, что ли, россичи, что живут на меже русского языка!

– Кому-то и на кону жить приходится, – сказал Колот. – Твоя слобода, воевода, стоит на самом краю, за то тебя племя и кормит. Зато и больше всех прочих слобод у тебя живет слобожан...

– Мы, россичи, украиние, – поспешил продолжить Дубун, чтобы никто из других князей не успел уцепиться за лукавое по внешности слово Колота. – Внутри себя несем мы бремя кормления слободы и тщимся послать воеводе людей поболее. Для задних же и для соседей наших – все племя русское будто слобода ихняя. Однако ж они нам кормления не дают, и мы обо всем должны сами промышлять, – закончил Дубун речи, о которых было заранее условлено между ним, Всеславом и Колотом.

Перевалив на вторую половину, день холодел. Небо светлело, стали видны низкие облака, грязные, рваные. Прозрачные звери воздуха, которые невидимо живут между твердью земной и твердью небесной, не любя зимних вихрей, поднялись повыше, поближе к солнцу. Из-за полуночи вылезала тяжелая туча, серо-синяя, как остывающее железо. Летом в таких облаках скрывается громкокипящий Перун, зимой – рождается снег. В предчувствии ныли кости старческих ног, не помогали меховые сапоги.

На коновязи взволновались озябшие кони. Зверя ли почуяли в лесу, или боги, внимая людям, что-либо сказали?

– Договор нам нужно совершить с илвичами по всей справедливости, облегчить себя, – говорил воевода. – Пусть бы илвичи в нашу слободу дали десятков пятнадцать или двадцать, мы легче себя охраним. Себя охраним – их избавим от разорения. Ту же речь обратим к каничам. Потом будем думать о других русского языка родах-племенах. Знаю, дело большое. Большое же дело долгое, оттого и начинать нужно немедленно.

Всеслав замыслил неслыханное. Никогда племена, жившие по Роси, не смешивали слобод. Бывало, сообща оборонялись, по слободы и в бой ходили под началом своих воевод.

– А кто будет кормить слобожан из чужаков? – спросил Велимудр.

Русские роды давали в свою слободу хлеба, считая слобожан по головам, в месяц по пуду, крупы – половину пуда, меда – ведро, огородных овощей – по возможности. Обувь и одежду давали по надобности. Обидно будет кормить пришлых.

Начав с мелкого, Велимудр нашел нить мыслей, потерянную им:

– Главное оно вот что. Рука выше головы не считается, воевода не князь. Набрал много парней от илвичей да от каничей, не мечтаешь ли ты, воевода, волю взять большую? От войска большего не мнишь ли ты встать выше родов, выше нас, князей? Знаем мы, ты с извергами дружишь! Ты за них перед нами, князьями, заступаешься напрасно. А родовичи наши, у тебя в слободе побывав, больше тебя слушают, нежели князей. Ратибор голоусый вышел из воли князя Беляя. Ты же ему повелел – и он взял жену...

– Нет, князь Велимудр, – возразил воевода. – Нигде не вижу того, что тебе видится. Нет! – Всеслав указал на богов, зрящих на Рось из священных образов. – Они видят мою душу. Для себя я ничего не ищу. Хочу, чтобы Роси нашей кровью не краситься. Не кожа на моем теле –

бронь живая для языка нашего. Вы, князья-старшины, веры в меня не имеете? Я в воле вашей. Скажете – буду слобожанином. Воинов пусть поведет, кто вам милее, я его буду слушаться. И еще слово об извергах скажу: они же россичи, не хазары, не ромеи, не гунны. Изверги своими сынами прибавляют нашу силу.

Молчали князья-старшины, отягощенные думами, как зимнее небо – тучами. Никто не искал взгляда соседа. Наконец старый Беляй, казалось, обиженный воеводой, заговорил так, будто бы не было ни злой речи Велимудра, ни горького ответа Всеслава.

Тихим голосом Беляй как бы себе объяснял, что надобно, ой, надобно же помочь слободе или себе, все одно ведь – для Роси... Худа же не случится, нет, не случится, когда еще более будет жить в слободе воинов, свои же они, свои. Пусть же учатся делу военному под умной волей Всеслава. Добрый воевода Всеслав. Нет ему равного ни у каничей, ни у илвичей, нет такого у россавичей, у ростовичей нет такого. Потому и подобен воевода Всеслав для князей сыну единому, сыну любимому...

Слушая плавную, будто вода течет, речь Беляя, Велимудр томился бессилием. Словно он не человек был, а дерево, невластное уйти с берега, хоть и видит оно урочный, неизбежный подъем реки. Роет поток, обнажаются корни, и не жить более дереву. Угасая, Велимудр чувствовал, что своей вольностью могут расплатиться россичи за боевую мощь. Князья-старшины управляли родами, не имея сил понуждения, кроме ухищрений ума и общей воли родовичей. Изверги уходят, нечем их удержать. Разве что прижмешь такого, когда он придет просить ссуду – купу семян. Нет счастья в обиде, чинимой извергу, только злобу потешишь. Прав воевода. Чем спокойнее были лета, тем ближе злое лето. Некуда идти – Степь нависает. Будет не чужое ярмо – все ярмо. Хорошо, что не жить Велимудру в те, грядущие лета.

Потому-то и молчал самый старый из князь-старшин, когда остальные согласились просить помощи у соседей. Не возражая общему решению, Велимудр сказал лишь, что перестарился он, чтобы выбираться к соседям за кон своего племени да кланяться.

«Так-то, – думал Всеслав, – яснее солнца показал князь-старшина Беляй, что единственно общим страхом перед Степью держится нынешний воевода россичей. Ведь прав был Велимудр в своих подозрениях», – и этого Всеслав не скрывал перед своей совестью. Однако же и он, Всеслав, возражая старейшему из князей, не солгал против чести. Для себя-то ничего не нужно Всеславу: ни почета, ни сладкой жизни, какой живет сосед, илвичский воевода Мужило. Ничто Всеславу поклоны, ничто мягкое ложе и ласки женщины. Воля людям нужна? Воля, чтобы сменить ее на хазарскую неволю? А все ж, не будь страха перед Степью, сегодня же князья сделали бы Всеслава простым слобожанином. Из десяти князей лишь трое могли дать ему помощь: побратимы по Перуну – Дубун, Чамота и Колот. Горобой стал бы грудью, но слаб голос отца, когда в таком деле он за сына.

Да и чем закончил бы Колот, коли бы князья всей крутостью повернулись против Всеслава? Колот мог захотеть сам стать воеводой. И Всеслав служил бы ему, чтобы хоть этим послужить роду. И служил бы так, как Колот, – за слободскую силу.

Черная туча в багровых подсветах позднего заката валилась с поднебесья на землю. Поминая худыми словами упрямство Морёны-зимы, князь-старшины спешили с погоста по домам. Всеслав позвал гостей в слободу, с ним поехали Колот, Чамота и Дубун.

Торопились, но не успели уйти. На последней засеке буря сбросила густой снег, оделась мраком, с воем ринулась наземь.

В такую пору лес спасает человека. Как и степного, лес не пускает небесного кочевника – ветра.

Только на открытом месте под самой слободой, на высоком берегу реки, поздняя выюга ударила полной силой своих полков.

Сладкое Лето легко, лениво уступает жаркому Лету. Усталое Лето, пресытись, в дремоте отдается Осени. Робкая Осень, пугаясь первых угроз Морёны-зимы, бежит к полудню и потом

лишь украдкой, когда отвернется Зима, дарит хладеющей земле свои ущербные ласки. Зима же никогда не уступит без битвы. Так накидывается старое на молодое, спеша удушить, пока в юном теле еще мало силы, в старом не истратилась злобная мощь.

Россичи вели в поводу коней, испуганных колдовской войной. В полуверсте от слободы, в укрытии пастухи спрятали от выюг слободской табун. Пустив коней в табун, хозяева и гости наконец-то добрались до слободы.

В воеводской избе Всеслав вырубил огня и зажег фитили, утопленные в светильниках из обожженной глины. Огненные цветки, широкие в середине, на концах острые, как стрелы, распустились над длинными носиками.

Дверь в избу запиралась плотно, стена и кровля были надежны.

От дыхания шел пар. Во впадинах всю зиму не мазанного глиноземного пола зеркальцами сверкал лед. Всеслав уселся на своей широкой постели, рядом с ним на шкурах развалились князь-старшины, молодые слобожане собирали угощение.

Только свободная передняя часть воеводской избы, где стояли постель, скамьи и стол, была освещена. Дальше уходило несоразмерное с шириной и высотой избы темное помещение, будто пещера. Лари из ровного теса, сбитые в шип и сколоченные деревянными гвоздями, высокие и низкие корзины, лубяные и берестяные короба оставляли узкие проходы. Слабый свет не проникал в них, и норы в слободском богатстве казались бесконечными. Под крышей, толстая матица которой была утыкана гвоздями, висели тюки запасной одежды, связки клинков для прямых мечей и кривых сабель, пуки стрел, круглые и длинные щиты.

Воевода скинул высокую шапку, шитую из рысьего меха и отороченную бобром. Голова с длинной прядью на темени была давно не брита, отросшие пальца на три волосы, примятые шапкой, казались светло-русый мхом. С плечей сам сполз мягкий плащ из козьего меха. Рубаха узловатой ткани, толстая, грубая, была слабо завязана у ворота шнурком. В разрезе виднелась грудь, молочно-белая по сравнению с темной шеей и коричневато-красным лицом.

Воеводе тесно в слободе. Медленно течет время. Горечь и недовольство опустили углы рта, кривили губы, сводили брови в глубокой складке. Исполненное желание вызывало новую жажду. Слишком много застылого покоя привычно жило в делах россичей.

Поправляя усы, Всеслав коснулся ямки на щеке, памяти о хазарской стреле. Прошлое не утешает даже старика... Недовольство разъедало душу Всеслава, точило червем, давило, как камень, попавший в сапог. Он прошел пору страстных увлечений воинским делом. Мальчиком он завидовал взрослым, умению рук, силе тела. Потом он преклонялся перед решимостью суровых мужчин, их знанием тайн жизни. Взрослые, образцом которых служил для Всеслава отец, были всеведущими, всемогущими. Он подражал настойчиво, упрямо, учась беспощадно требовать от себя. Руки Всеслава носили следы ожогов каленым железом – он в одиночестве испытывал свою волю.

Посланный в слободу, Всеслав нашел там образец еще более совершенный, чем Горобой. Не было испытаний, которых Всеслав не искал бы. У него едва пробивалась борода, а он уже мог заставить коня лечь от муки, причиненной сжатием колен всадника. Только в самые сильные холода молодой слобожанин накидывал меховой плащ. Плавать он мог весь день, не нуждаясь в отдыхе, и спускался вниз по Роси на тридцать верст. В умение владеть луком, мечом и копьем Всеслав быстро сравнялся с сильнейшими слобожанами.

От Всеслава Старого он научился молчать. Сам от себя он требовал, не зная отказа, и научился угадывать мысли других, ломать незаметно сопротивление чужого ума, чужих желаний.

Всеслав не захотел вернуться в род и сумел убедить отца. Жениться он согласился холодно, по обязанности перед родом.

Десять весен тому назад умер Всеслав Старый. Его преемник не имел соперников, решение князь-старшин по завещанию Всеслава Старого было принято всеми как нечто столь же очевидное, как свет дня. И жизнь Всеслава остановилась, нечего было желать.

Его детские представления разрушались: зрелость не наделяла мужчин мудростью и могуществом. Он наблюдал неразумие проступков, случайность решений, упорство в ошибке, непоследовательность желаний, слабость. Почти все, кого знал Всеслав, были для него переросшими детьми. Хуже, чем дети: от взрослых нечего было ждать. Их нужно вести, ими нужно управлять.

7

– А что, воевода, – говорил Колот будто от нечего делать, – думаю, поначалу мы возьмем да приманим ильвичских парней, а потом раскинем умом, как взять дань. Поначалу – помалу... Помалу, да быть бы началу, с чего бы нога ни начинала, да лишь бы ступала, на месте не стояла, шагала да шагала, землю попирала. Все ведь дело в начале... Они невод как начнут чалить да чалить, ну и быть сому у причала, а потом опять бы начать сначала, много можно начать. Хе-хе, вот и эге...

Ведун князь Колот – умелец вить слово. Всеслав не откликнулся на простую, да с непростой хитринкой речь. Замысел Всеслава был виден Колоту – прямая речь не скажет яснее, чем речь с затейливой поговоркой. Колот глядит дальше других.

Не отвечая Колоту, Всеслав безразлично глядел, как Ратибор поднес стол для угощения. Молодые слобожане несли копченый окорок вепря, липовую долбленку со сладким медом, другую – со ставленным, вязки вяленной на солнце и копченной в холодном дыму рыбыны, пшеничные лепешки, печенные в золе, похожие на плоские речные камни.

Пчелиный мед, разведенный водой, сброженный хлебной закваской с хмелем, доспел в самую меру. Мутноватый, с частичками вошины и хлопьями закваски, пьяный напиток пахнул, как дыня, от собственной зрелости лопнувшая под солнцем, – и сладко и остро. По кругу пошел ковш с ручкой, сделанный под лебединую голову. Всеслав длинным ножом пластал двухпудовый окорок. Вепрятина выдерживалась в рассоле вместе с гадючим луком, полынью, донником, смородинным листом, коптилась в дыму ольховых, ореховых веток и дубового прелого листа, вялилась на солнце и была остра вкусом, сочна и мягка на зуб, как вареная дичина. Спинки стерлядей и севрюжек просвечивали на огонь. Лепешки, заделанные на молоке, масле и меду, плотные и тяжелые, обманывали – весом будто камень, а кусни – и рассыпается во рту.

От просыхающей на горячих телах одежды, от дыхания в избе туман стоит, тускнеют языки светильников.

Отвалившись от стола, Чамота и Дубун зарылись в шкуры, как в сено, и нет их. Меховое ложе устроили и Колоту. Уходя из воеводской избы, молодые слобожане распахнули дверь. Ударило выюжным ветром, светильники мигнули, и огоньки отлетели во мглу.

– Ты силу наберешь, брат, когда ильвичей накопишь. Сильную силушку-силу. Старики наши, дубовы головы, не понимают, никто не понимает. Велимудр было понял, но стар, – вдруг опроверг себя Колот и добавил: – Беляй понимает, да Степи боится...

Всеслав лежал на медвежьей шкуре, постланной на липовые доски постели. Он ощущал теплую влажность ног в широких сапогах; упругость и кисловатый запах овечьих шкур, которыми укрылся от ночной стужи. Пусть Колот говорит.

Наружу еще злее Морёна бросалась на Весну, свистела, шипела, а Колот нашептывал:

– Ильвичей наберешь. Наши привыкли. Не ты начал, еще до Старого началось. Нашим ярмо-то холку не бьет, затвердела. Те – неученые. Круто скрутишь – побегут от тебя. Повадку лежебочничать дашь, свои от них испортятся. Об этом думай, брат, я тебе буду верный помощник. Хочешь, от княжества откажусь, к тебе рукой приду правой?

Всеслав молчал. Не добиваясь ответа, зная, что ни одно слово не пропадет, Колот плел сетку:

– Малый камень, кстати попав под телегу, большое колесо изломает. Наибольшей помехой нам – воевода соседский. Сытый пес, поигравши, кость бросит, другому ж не даст. Так и воевода илвичский, жадный Мужило. А камень большой – то хазары. Коль они нынешним летом не придут? Думай, брат-воевода...

Дубун и Чамота спят под теплым мехом спина со спиной, как подобает побратимам. Колот шепчет в ухо Всеславу. И с тайной опаской воевода внимает князю-брату.

Тело насытить легко, не душу. Душа была полна, когда Всеслав, невиданно властвуя над собой, тянул стрелу, пробившую голову. Он не отдаст памятного часа. Гордился он от великой силы, побеждая смерть, зажавшую горло. Счастье живет в гневном борении. Колот верно размыслил: илвичских придется парить и гнуть железной лапой в меховой рукавице. А Мужило будет мешать. Умный возница убирает камень, чтобы сберечь колесо. Когда коня ведут через засеку, умный всадник ищет, где сбить мертвый сук, прежде чем он пропорет лошадиный бок. Что же случится, если летом не будет хазаров?..

Перед светом вызвездило. Почуввав мороз, Всеслав проснулся. Дверь пришлось отворить плечом, снаружи снег подбил избушкой завалиной. Зайдя в третью избу, Всеслав разбудил Щерба с Ратибором. Первая стежка на чистом снегу легла от их ног. Они скользнули вниз по затынкой лестнице, как рыси, прыгнули и понеслись к табуно. Молодость тешила нетронутую силушку.

Колот лежал на спине с открытым лицом. Дыханья не было слышно, за ночь на усах намерз лед. Кто знает, где бродила его ведовская душа. Быть может, она, пользуясь последней мглой и следя воеводу, сейчас невидимо летела за Щербом и Ратибором.

Ночью табун стоял на конном дворе. Ограждая малую лесную поляну, меж деревьев с одного на другое положены частые жерди, наглухо заделанные плетнями, чтобы волк не прошел. К середине зимы стаи отощавших волков лезут из степи ближе к человеческому жилью и к домашней скотине. Темными ночами они могут наделать много беды. Кони, тесно сбившись от холода, грезили о весне. Табунщики спали в избушке у околицы.

Посланные отобрали шесть сильных коней, выпоили из обмерзлой бадьи. Задали ячменя. Жеребцы, прижав уши, с неистовой злобой жадно хватали зерно, а люди стояли, отхлопывая плетнями. Иначе навалится весь голодный табун, и несколько сот лошадей, озверев, затеют смертную драку. С помощью табунщиков трудно седлали рвущихся, взвизгивающих коней.

Заискрился снег под розовой зорькой, над лесом поднимались вороны и вороны, сороки пошли трепещущим летом. Ратибор и Щерб выскочили в ворота, каждый вел в поводу по два заводных коня. За ними, напирая на воротные столбы, будто вода в узком русле, надавил весь табун. Гикая, шелкая длинными бичами, не жалея приложить жгучий конец, просекающий шкуру, конные табунщики сбили лошадей со следа верховых и погнали к реке. Туда же потянули вороны, сорочья стая сторожко пошла за табуном. Стервятники ждали не одного тощего навоза, могли покормиться и падалью.

Оторвавшись от табуна, слобожане перевели коней со скачки на шаг. Путь лежал вдоль Рось-реки, которая в этом месте давала колено на север. У нового поворота всадники спешились, сменили коней. Еще верст через пять скачки встретился им высокий холм-могила. На нем маячил Конь-камень – плита в рост человека, поставленная дыбом. Это была древняя могила предков, хранящая кон-границу между россичами и илвичами. К северу кон продолжился по засеке, которая шла на Матку-звезду. Засеку рубили илвичи – россичам она не нужна, – через илвичей степняки не пойдут, пусть же те сами заботятся ограждать свой кон. Илвичи, как видно, больше надеялись на россичей. Граница содержалась плохо, деревья были повалены давно – Ратибор всегда помнил засеку такой. Стволы навалились на сгнившие ветки, сучья,

изъеденные червем, обломались. Заросшая мхами и грибами, засека обветшала, тянулась к земле, растворяясь в кустарниках. Кабаны продрали ходы. А там, где один кабан пролезет, другие за ним расчистят и улицы.

Близкая илвичская слобода закрывалась с одной стороны каменным оврагом, с другой – ручьем, прорывшим глубокое ложе перед впадением в Рось. С третьей стороны илвичи отсекали себя рвом и тыном, за которыми спрятали четыре избы. По сравнению с русской илвичская слободка казалась низкой, худо укрытой. Только сторожевой помост был куда выше: место низменное, кругом лес.

Воевода Мужило коротал предвесенние дни не более чем с десятком слобожан из голо-
сух, неженатых парней да со своим другом-наперсником Дубком.

Илвичские слобожане славились мастерством ставить силки, бобровать, выделывать шкурки и шкуры, дубить кожи. Зато оружием и конем они не умели владеть, как русичи. Одной рукой два дела сразу не делают. Мужило был жаден, копил. Одно его точило: не мог он сам ездить на весенний торг с ромеями – по обычаю с самой весны воеводы сидят в слободах. Посылая на торг друга Дубка, Мужило в нарушение общности старался доставать для себя красивые изделия ромеев.

Гости застали Мужилу за делом – он пересматривал меха, отбирая головку для торга. Слобожане поклонились:

– Воевода Всеслав да князь-старшины Чамота, Дубун и Колот с ним просят, пожаловал бы ты на мед, на знатную снедь. А там бы и побаловался гоньбою-охотой. За Росью туры ходят, козы много, кабанов много. Зверь присмирел, мы же давно его не гоняли.

Мужило любил сладко есть, крепко пить. Немногим старше Всеслава, илвичский воевода отяжелел, обрюзг. Услышав о предстоящей гульбе, он встряхнулся. У Всеслава гостят трое князей, будет знатный пир.

Сапоги красной кожи с желтыми разводами проделали длинный путь из нижнеднепровской Карикинтии, если не из самой Византии, чтобы попасть на ноги илвичского воеводы. Красная шелковая рубаша под легкой шубкой из нежного меха козы расшита золотыми шнурками, плащ скроен из тонкого сукна. Только бобровая шапка с собольей оторочкой была своего, русского дела. Таким вышел Мужило, изготовившись в своей избе. Сам роста высокого, князь князем, а не воевода только.

Конь попятился, натянув узду. Усмиренный окриком, он вытянул морду, обнюхал всадника. Думая о дурной, по поверью, примете, Ратибор придержал стремя. Тяжело ухнув в седло, Мужило разобрал поводья.

Откинувшись в седлах, почти доставая головами до крупа, всадники спустились в овраг. Привычные кони сами выбирали, где поставить ногу. Прихватив гривку, уткнувшись в шею коней, люди позволили вынести себя на ровное место. Мужило поднял коня вскачь и гнал до засеки. Там ему переменили коня, и опять илвичский воевода скакал будто в погоню. Чего щадить жеребца – не свой. Загонишь – другой идет в поводу у провожатых. Хотел Ратибор спросить воеводу, для чего не подновят его илвичи засеку, да за скачкой не стало времени.

Ночная буря, как черная корова белого теленка, родила чистый денек. От скачки людям было жарко. Пригретый солнцем, мокро падал наземь ночной снег с ветвей. Пичуги порхали парочками, черные птицы-вороны, поверя в весну, кружили над полянами в хороводах.

Русские князья встретили гостя объятиями, день провели в бражничанье. Самым нежным другом Мужиле смотрел князь-старшина Колот.

Ночной морозец вспучил звенящий ледок в лужах, под хрупким стеклом застоялись белые пузыри. Голые ветки оледенели. Но хлынуло светлое тепло Сварога – родился первый весенний день.

В ледяных закраинах лениво текла черная Рось. Река обмелела за зиму, на броне открывались обточенные водой камни. В подводных пещерах на постелях из водяного льна еще дремали водяные и водяницы. В зеленом сумраке покоились красные лалы, прозрачные алабандины, низки жемчугов, обманно-золотые запястья, ожерелья, будто из серебра. Над спящими звенели радужными перьями чудесные рыбки. На страже в стылой воде висели сомы-исполины и гигантские щуки, обросшие мхом, седые от древности. Едва струясь по поверхности, река еще спала.

Князья и воеводы гуляли, играли песни и сушили ковши до поздней ночной стражи. Утром опохмелялись, опаздывая с выездом. Загонщики-слобожане соскучились, стоя в окладе.

Охоте быть за Росью. Умные кони осторожно несли людей через брод. Мужило был хмелен и весел. Запел бы, но помнил – на охоту идут без крика. Воевода горячил коня, бил каблуками, дергал повод. Конь остутился. Едва Мужило не выкупался в студеной купели, мог и голову себе раскроить о камень. Но конь справился, вышел на берег.

До болота недалеко. К осени, покрывшись молодым камышом и в два и в три раза выше человеческого роста, оно почти иссыхает. Такие места излюблены вепрями, есть корм – сладкие корни тростника, есть удобные, теплые лежки. Утром вепри уходят из болот, вечером возвращаются домой.

Настоящая охота на вепря пешком, с рогатиной, с топором за поясом, с тяжелым ножным мечом за сапогом.

Пора торопиться, скоро загонщики стронут зверя из степи. От их шума и крика, от зова рогов вепри пойдут в болота, как люди, которые в тревоге бегут за тын родного града.

Охотники разобрались в мертвых камышах, около кабаньих ходов, примерились, чтобы вепрь не заметил. Глазки у него малые, видят же хорошо. Еще лучше чувствует этот зверь. Дело охотничье так гнать облаву, чтобы вепрь шел с ветром.

Скоро придут, побегут вглубь болота. Охотнику нужно выбирать на проходе, кого колоть: самца-секача или нежную мясом молодую свинью. Чем больше кабан, тем грубее мясо. Но после охоты туши выгашат конями, положат рядом, смеряют от конца ноздристого рыла до начала короткого хвоста. Чья добыча длиннее, тому и слава. Вот и выбирай: охотник ты иль охотнишко.

Ветерок шелестит бурыми языками мертвых листьев на сухих палках тростника. Порхнув, птица повисла на стебле, качается. Поторопился длиннохвостый дрозд прилететь на гнездовья, ан пусто все, нет кормов на земле. Умная птица знает, как много червячков и яичек найдется на первое голодное время в метелках камыша. Внизу заморозки, наверху тепло, волосатые метелки кишат живой пищей.

Гостю первый ковш всего, что пьют за столом, гостю лучший кусок, гостю и лучшее место на охоте. Первым Всеслав поставил Мужилу, за ним три лучших места разобрали три князь-старшины. Вместо жеребья конались на рогатине. Чья рука покрыла, тот первым выбирал, чья под ним – вторым, третий взял остальное место.

Слышны дальние крики рогов, загонщики стронули зверя. Мужило знал: ему-то выставят хорошо, выбирай только. «Другие же, наверное, горячатся», – думал Мужило. И без добычи плохо, но достанется отощавшая свинья – не оберешься насмешек, что напрасно марал железо, утруждал древко.

Мужило прислушивался. Свежий воздух повыветрил хмель из головушки, ильвичский воевода бодр, сила по жилкам живчиком переливается. Зверь не идет. Жди тут...

Трубят, трубят. Мужило будто видит: загонщики, охватив стадо длинной цепью, отжимают вепря к болоту. Приблизились рога. «Эге, стадо подалось, пошло ходом! Ну, молодцы, напирай, напирай же! Мне бы выставили вы кабанчика-старичка со щетиной по хребту хоть в две ладони да с клыками в две пяди, возьму!»

Колот выбрал для гостя рогатину, подходящую к большому весу охотника, к немалой его силе. Ясеневое древко толщиной в запястье руки, насадка длиной в три пяди, жало четырехгранное, лезвие шириной в ладонь. На кабана ли, на медведя, на тура – на всех отлично годится. Немало крови выпило прикладистое железо. Из-за голенища у Мужилы торчит рукоять турьего рога – его собственный ножной меч.

Всеслав велел Ратибору остаться с гостем, чтобы на случай чего подать запасную рогатину. Бывает так, что со старшим стоит на засаде младший. Мужило не заметил бы заботы, не скажи Колот напутствие Ратибору:

– Ты ж гляди, ты ж береги дорогого гостя. С тебя будет спрос – не шутка, опозориться можешь навек, коль просмотришь.

Не сразу дошло до Мужилы. Пошли уже было, когда обида кольнула сердце ильвичского воеводы. Он грубо прогнал непрошеного защитника:

– Я не голоусый, не баба, сам за собой угляжу, брал кабанов нет числа. Ступай, не мешай!

Воткнув запасную рогатину в землю, Мужило, наблюдая за голосами рогов, забыл обиду.

Вот у соседа полоснул острый взвизг и – тихо. Там, шагах в полтораста, стоял Колот. Взял, будь неладен, первого зверя. Эх, неужто посмеются над гостем?! По крику судя, Колот взял свинью. Ладно, мы тебе ответим вепрем...

Мужило услышал шорох, хруст тростника. Зачавкали острокопытые ноги в размякшей к полудню грязи. Храп и сопенье ближе, ближе. К ильвичскому воеводе по узкой тропе катило охотничье счастье, к его коню шел матерый вебрь.

Первым через камыш пробился Колот. Увидел и позвал в рог, трубил протяжно, низким по звуку воем, держа рог в землю. Так не зовут на веселую сходку ко взятой дорогой добыче.

Собрались охотники. Чего и гадать, не выдержало древко рогатины, повдоль расщепившись, сломалось у самой насадки. Видно, воевода ударил в кость. В кость – ничего, бывает. Не так пошло лезвие рогатины, не ребром по ходу зверя, а плашмя. Жало уперлось в кость, вебрь повернул. Будь лезвие краем повдоль, зверь сам себе распорол бы мясо, а железо сошло бы с кости. Тут бы вепря сразу и кончиться. Нет, древко лопнуло от страшной силы, и насадку выбросило из раны.

Видно, что Мужило успел схватить запасную рогатину, но повернуть ее не было времени. Вебрь, не умея задирать голову, первый удар дает в ноги. Мужило лежал на спине, затоптаны в грязь и красные сапоги, и шелковая рубаха ромейской работы, и козья щегольская шубка. Сбив, секач прошелся по телу, роясь в нем кривыми клыками, вырывая ребра, подобно лемеху плуга, который крушит корни и тащит их наружу. Нету Мужилы. Тело можно узнать лишь по ключьям одежды. Нехорошо и глядеть. Смотрели, ходили около, узнавая, как случилась беда, и поспешно накинули плащ на человечьи останки.

На древки для копий, рогатин, стрел выбирают прямой, чистый ясень или клен. Первый год хранят неошкуренные бревна подвешенными под крышу, но не в избе, а в амбаре. От верхнего избяного жара свежее дерево дает трещины даже в коре. На второй год бревно ошкуряют – не завелся бы червь, – смолят и подвешивают в избе. Закоптившись в дыму, древесина твердеет. На третий год бревно колют кольшками, а не распускают пилой. Выбирают бруски ровные, без заплывших сучков, на которых может случиться излом, строгают стругами, чистят камнем. Такому древку можно довериться. Был бы верен глаз, тверда рука, а русское дерево не выдаст.

Не нарушила русская слобода гостеприимства. Доброе было древко. С убийцы же надо взять выкуп смертью.

Темной кровью вебрь покропил дорожку, оставил меты на камыше. По горячему следу пошел Всеслав, за ним как свидетели – Дубун и Ратибор.

В зарослях сплетшихся кустов по руслам ручьев, речек, оврагов все Поросье, все Поднепровье дало приют вепрям. Низкий, толстошкурый вепрь пройдет там, где нет ходу другому крупному зверю. Сам проделает дорогу, раздвигая колючки острой мордой, которая не боится даже укуса змеи. Ход вепря в непролазных кустах, как нора. Туда может пройти лишь волк, но волки боятся вепрей. Вепрь любит болота. Чуткий, осторожный, он никогда не вступит на чарусу – болотное окно, обойдет омут-окно, оставленное для глупых хитрой топью.

У секача-победителя рана горела, сердце злобилось. Ему мало одного человека, он не ушел, не забился в камышах, как сделал бы всякий другой зверь. Отойдя от места схватки, он повернул и лег на свой след, мордой к ходу. Не придет ли кто еще под клыки? Вепрь слышал человеческие голоса, ложась боком, студил холодной землей рану. Ветер шелестел камышом. Потрескивают сухие стебли, ломаются острые пеньки камышей. Это не ветер. В тростнике, в мертвых осоках сочится дыхание воздуха, течет над снежком, не сошедшим в затененных прогалах, несет человеческий запах.

Вепрь встает. Маленькие глазки под белыми ресницами внимательны. Он бесшумно несет многопудовую тушу навстречу преследователю или преследователям, ему все равно. Не он выбирал, он мог бы выждать около первого тела, напасть на людей. Он ушел. Они хотят еще?

У коленца тропы вепрь остановился, поднял рыло как мог, раздул глубокие ноздри, поставил лопушистые уши. Человек близко...

Вепрь, готовясь, чуть скривил шею. Он ударит, как всегда, правым клыком и – как всегда бьет вся порода вепрей – снизу вверх. Задние ноги подошли под брюхо.

Направляя левой рукой, Всеслав правой ударил рогатиной навстречу черной глыбе. Железо вошло в зверя.

Честь послала Всеслава на поединок с убийцей гостя. Но нет у россича к зверю злобы или презрения. Разум воеводы холоден, он знает: вепрь тянет пудов восемнадцать, человек же только семь. Вепрь – боец от природы, иначе другие давно погубили бы веприное племя. Человек тоже воин. Разве не боем отстоял он свое место? Но в отличие от зверя человек сам учил себя биться, сам учил свое тело быть послушным – как крыло слушается птицы.

Ноги русского воеводы ушли в мягкую землю до полуколена, но он сумел остановить вепря. Стараясь избавиться от рогатины, вепрь нажал в сторону. Всеслав не дал себя обмануть. Вепрь встретил не Мужилу, отяжелевшего от сладкой снеди, разменявшего на стяжание силу разума.

Необычно для охотника вставать прямо перед вепрем. Стараются бить сбоку, метят под левую лопатку. Что-то заставило Всеслава предложить убийце Мужилы равное состязание, будто равному сопернику в одиночном бою перед войском.

Как в пень уперся вепрь. Зверь попятился, желая вырваться от рогатины, отойти для разбега. Всеслав не пустил. Осев на задние ноги, вепрь дернул тугой шеей, чтобы достать, срезать клыком древко. Поздно было. Он сидел не в болоте, а в озере собственной крови. Дрожь-озноб потрясла тело, помутились глаза, из ноздрей пошла кровь. Насытилась мстью отомщенная душа Мужилы.

Шли мгновения. Странно глядел Всеслав на мертвого вепря. Потом позвал своих, на их глазах срубил голову вепря и легко поднял за кривой клык трехпудовый обрубок.

Свою ношу Всеслав бросил у тела Мужилы, чтобы совсем утешилась душа ильвичского воеводы.

Сняв шапку, князь-старшина Колот рукавом отер пот. Ему одному стало жарко, хоть он ждал, как другие, и, как все, одет был легко, по-охотничьи. Встретившись взглядом с воеводой, Колот отвернулся, как женщина, которая боится выдать тайную мысль.

Останки Мужилы закутали в плащи, обвязали арканом. Обняв тело, Ратибор по приказу Всеслава повез его в слободу.

В слободе сделают длинные носилки из жердей, навесят на пару лошадей. Шагом, со скорбной осторожностью повезут к илвичам тело воеводы, который погиб не в бою, а от своей неразумной смелости. Отказался взять товарища, один встал на кабанью тропу и сгиб понапрасну.

Сам погиб... Не Судьбою погублен. Люди русского языка не верили в неведомо-мощную, унижающую волю человека Судьбу – предначертанье от великих богов. На погостах в деревянных обличьях разные боги. Но не было ни одного, подобного тем, кто у других выражал безграничную силу Рока, Фатума, Предопределения. Добрые роданицы-рожаницы, напутствуя новорожденного россича, клали в его колыбель приданое добрых пожеланий. Что он с тем добром сделает – воля его... Буди разумен!

Сам себя загубил неразумный Мужило.

Колот и Всеслав возвращались в хвосте конных и пеших. У брода, на правом берегу Роси, они остались последними. Будто уже позабыв свое волнение, Колот с усмешкой, как любил, сказал:

– Эх ведь ко времени треснуло древко! Скажи, Всеслав-брат, сон был ли у тебя? Стало быть, в руку...

Всеслав не спешил с ответом. Колот ему верный друг и помощник, общие мысли у них. Не быть бы лучшему россичу, не точи сердце Колота черная зависть. Всеслав знает – в бою телом своим Колот закроет брата, жизни своей не пожалев. И другое знает Всеслав: убей ныне вепрь его самого вслед Мужиле, Колот скоро утешился бы счастьем стать русским воеводой.

Как из камня лицо русского воеводы, глаза темная вода речная:

– Не мой сон – твой. Для того ты и отвел Ратибора, Колот-брат, что твой сон был, не мой. – И Всеслав послал коня в реку. А на другом берегу, дождавшись Колота, обнял брата, и, поняв, князь-старшина улыбнулся: легче нести разделенную ношу.

8

Илвичи сожгли тело своего воеводы. На страве-поминках съели и вепря-убийцу. Нового холма-могилища не насыпали. Собрали они остатки костей и оружия, которых не в силае оказался унести огонь, и скрыли в старом холме, в могиле, стоявшей на кону-границе между илвичами и россичами. Для воеводы хорошее место. Погребенный Мужило мог бы сказать про себя: «И после смерти есмь я межа-граница моего племени».

Русские князь-старшины, покинув на время роды, гостили у илвичских собратьев, уговаривая, чтобы те своих людей не отказали послать в русскую слободу: «Братья мы, единокровные, одного мы языка русского, все мы славянские люди, кто живет, кормясь хлебом, от Рось-реки и до Припяты, от Припяты во всех лесах до Холодного моря».

Уговаривали, а сами спешили: весна пришла. От солнечной ласки пар валит над черными пашнями. Густо, сочно пахла кислая земля, щедро напившись воды. Бухли, лопались почки. Ожила старая трава. Под еще голыми от листьев кустами клубеньки чистяка выбросили стрелки, гнали листки, полные едкого сока, открывали желтые звездочки скромных, но милых глазу цветов. Зажелтел и лютик, малый, но люто-горького вкуса первоцвет. Нежнейшая белая ветреница, которая от малейшего дуновения качается, цвела девственно-белая, опирая слабые стебли на могучее корневище. Она – как женщина, слабая видом, сильная душой, которая у цветка живет в корне. И баранчик спешил развернуть на гладком цветоносе кисть длинных цветочков, тянулась к свету фиалка – все оживало в теплой земле.

Гусь, лебедь пришли стаями, утка плескалась в каждой луже, пищали кулики. Над мочажинами в лугах, будто по мертвым деточкам, жалобно стонали чибицы-пивики. Любовь у них горькая, думать надо, вот и плачут заранее. Такая уж скучная птица...

Набухали ручьи, Рось-река прошла первым подъемом, опала на час и пошла опять лезть на берега выше, выше. Течение заметно замедлилось. Вкус воды стал земляной – из лесов полилась густая вода, земляная, а выходу Роси не стало, Днепр подпер Рось, как, думать надо, и все прочие реки. Уже и сейчас было видно по медленности течения перед слободой, что Днепр сумел остановить Рось от устья и до самого входа в большое колено. Как по стоячей воде, по Роси стелется серая грязь-паутина, едва движется унесенный валежник, рванная с корнем сухая трава. Ветер гонит грязь, собирает ее в морщины под берегом, где движения вод нет совсем.

Тут, там вдруг будто вскипит река, взмоет потревоженная на отдыхе станица гусей, пухлых гаг, закрикают утки, зашипит храбрый селезень, удирая от страшного места. Во все стороны, как брызги, метнутся острые спины рыб. То понизу идет острорылая белуга, длиною в хороший челн, распугивает круглого лосося, крепкого судака, плоского леща, широкотелого сазана. А может быть, и шипастый осетр щупает дно грудным пером. Или многопудовая щука, мучаясь от напора икры, ищет местечко с мелкой водой да обильное травами. За нею, как телята за коровой, идут два самца ростом раза в два короче. Найдет щука место, встанет, будет давить из себя живое просо, а самцы, заботясь о роде, полют икру молоком.

Стеснившись весенним безумием, рыба набила устья всех ручьев, почти что на берег идет. Россичи рыбу еще не ловят, так, берут дети понемногу, на общую потребу. В градах вынимают свежую икру, чуть присолят и едят, пока не надоест. Соль берегут, весенняя рыба слабая. Солнца еще мало, чтобы вялить. Летом рыба будет садиться в верши-вентери, идти в сети – только бери.

Собаки, с охотки понабив брюхо, разжирев за несколько дней, уже воротят от рыбы морды. Вороны наконец-то набрали несытые зобы. Белохвостый орел лениво хватает легкую добычу. Сытый мир живущих на сухой земле безразличен к весенней рыбьей сутолоке. Холодная речная живность невозбранно творит свои дела.

К каничам – через Россаву – не пройти, не проехать без челна. К илвичам еще можно добраться конями, да длинны обходы-объезды разливов и озер, которые поделались на низинках, где летом только мочажины-калуги, а осенью сухо совсем.

И все же вести, ходившие по россичам, перелетали к соседям: наступающим летом ждите из степи беды.

Убеждая князь-старшину илвичей Сыта, старый Келагаст одевал многими словами мысль, как одевается дерево листьями. Смысл же был один, простой, против него не поспоришь: единство. Давно, из веков идет призыв быть вместе; сколько раз повторенный, он оставался без ответа. Видно, дело простое, очевидное – труднее всего. Однако же легче куль зерна поднять двоим, чем одному; легче бревно нести вшестером, чем вдвоем.

Вместе наши и ваши слобожане сдержат хазаров, быть нам живыми, имению – целым. Порознь не одолеем. Разольются они через Рось, нас и вас побьют, угонят в рабы.

Сыт угощает Келагаста. Сухо старое горло, не лезет еда. Речь же обильна. И те из россичих князь-старшин, кто вяло соглашался со Всеславом и на погосте не спорил, лишь чтоб не противодействовать большинству, разгорелись, убеждая. От необычного дела, затеянного россичами, от вещей видений Всеслава и Колота нынешнюю весну омрачило видение будущих бедствий. Кабы степь никогда не просыхала да реки никогда не опадали!..

Для всех весна хороша, и всем она мила, но – не живущим на Рось-реке. Весна лишает покоя, покой приходит лишь осенью.

Поляны уж сохнут. Сохнет и степь. Скоро половодье начнет убывать. В поймах первыми откроются седла между холмами, потом выйдут гривы, разделяющие затопленные озера и болота. Зверье, спасавшееся от наводнения на высотках, попятнает осевший речной ил. Черный в первый день, жирный покров посереет, растрескается, в трещинах прорежутся бледно-

зеленые ростки лопушника, щавеля, лебеды. Вода спадет, степь покроется травой по колено. И придут каждый год ожидаемые хазары. В это лето, наверное, придут.

Не получилось согласия между илвичами. Из страха перед Степью двенадцать родов решили послать к руссичам людей из своих слободских. Правильно рассчитали-размыслили князь-старшины со своими родами: «Будут наши отбивать хазаров на русских полянах – нашим убытка не будет. Будут у нас отбиваться – нам убыток». Так решили в ближних к русским родах. Другие одиннадцать илвичских родов тоже правильно решили: «Лучше ныне же укрепить засеку между собою и руссичами, ждать за нею. Русская слобода сильная. А мы изготовимся, когда хазары придут. Глядишь – наша сила хазаров доконает, добыча с хазарских тел и с обоза тоже наша».

Еще одно лежало в душе тех князь-старшин, которые согласились слить силы слобод, – после смерти Мужилы не стало у илвичей настоящего воина. Дубка они поставили в воеводы потому лишь, что лучшего не находилось. Но в этом из гордости никто не признался бы.

Так и сделалось дело – наполовину. Князь-старшины спешили домой. По приметам пора пахать, сеять. Чем раньше семя умрет в земле, тем хлеба будет больше. Ранним посевам не страшна засуха. Степь от солнца горит, на лесных полянах колос наливаются. Князь-старшина должен указать, где начинать, куда да кому из пахарей переходить. Семена надо прощупать, обнюхать, попробовать на вкус, чтобы понять, жива ли душа в зерне, спит ли зародыш великого делания или умер.

Пора! Пора! Руссичи ходят по своим полянам за дубовым брусом, на бресе кованое острие с отводом – лемех. Сзади два правила, чтоб держать плуг в борозде, спереди ременные лямки для воловьего ярма или для лошадиной упряжки. Заняты руки у пахаря. Он кричит-орет на скотину. Понимает бессловесный вол, понимает и молчальница-лошадь. Знает, где право, где лево, остановится по голосу, повернет. Проорют поляну повдоль, проорют поперек. Борозды должны быть глубоки и ровны, плуг держи прямо. Из огрехов дикая птица выклюнет зерно, дикие травы заглушат добрый всход раньше прополки.

За пахарями идут сеятели с лукошками. Это работа стариковская, большой силы не требует, умение нужно. Зерно сыплется, как осенний дождик, ровно, без плешин, но и не густо, чтобы одно не мешало другому. Побросай – и поймешь...

Главные сеятели – сами князья. Келагаст лишь вторую весну перестал ходить по пашне, а Велимудр еще топчется, и вот – диво дивное! – под руки водят, едва не несут князь-старшину, но в роду с ним никто не может сравниться по чистоте, по ровности сева. Горобой, отец Всеслава, не отдает сеялку-лукошко, Тиудемир и Беляй натужно бродят по полянам. Будто бы умереть они все хотят за святым делом. Старцы не осият поднять в лукошке полную меру, за ними подростки несут запасные короба и горстями подбавляют зерно, смешанное с сухой сеяной землицей. За сеятелями тащат бороны с зубьями из твердого вяза. Бороны запрягают в одну лошадь, парнишка стоит на бороне, закрывает семена влажной землей.

Округ полей на каждом дереве ждут грачи и вороны, в воздухе с писком носятся чайки. Брали бы за пахарем червей, никто слова не скажет. Нет, крадут и семя. Пока не встанут всходы, дети с луками и пращами стерегут поля от зари до зари. Когда же поднимутся всходы, ночью взрослые берегут их от отравы дикими зверями. На больших старых полянах жирная земля чиста, плуг режет свободно. На малых полянах и на новых чищах, где был лес, плуг непригоден. Зацепившись за корень, плуг рвет упряжь, мучает лошадь. Перетащишь через корень – плуг скользит, не пашет. Здесь землю режут сохой. Похожа она на перевернутую козью голову. Пахарь несет соху на весу, не давая глубоко врезаться загнутым вперед рогам-лемехам. Вольные пахари на своих малых полянках больше сохами пашут – из-за корней.

Этой весной, как и всегда, сначала опахали кругом грады, выпуская на волю земляную силу. Несмышлениши да девки радовались весне. Старшие не хмурились, но можно было

видеть пахаря, остановившегося на повороте: думает он о чем-то, пока сами не влягут в ярмо соскучившиеся волю.

Придут хазары или не придут, паши да сей. Кто-то убирать будет! Не человек пашет – надежда. Святое, великое свойство души – верить в лучшее, ждать не смерти, а жизни. Без надежды давно запустили бы поляны, а владельцы сбились бы под защиту припятских топей и вырождались там от бесхлебья, от злой лихорадки, никому неведомы и всеми забыты. Росич гордился силой тела, умением пустить стрелу, биться мечом. Гордился урожаем хлебов, конями, скотом, удачливой охотой. Но велик был он другим – неугасимой Надеждой храброго сердца.

Глава третья

Империя теплых морей

*...То будет повесть бесчеловечных
и кровавых дел, случайных кар,
негаданных убийств, смертей,
в нужде подстроженных лукаво,
кровавых козней...*

У. Шекспир

1

Во времена, о которых сам Геродот не мог что-либо узнать, и, конечно, задолго до Троянской войны уже была пробита дорожка-тропа вдоль Пропонтиды, ныне Мраморного моря, и кончалась она на восточном берегу полуострова. И если так уж нужно вообразить себе первого, самого первого человека, проторявшего пеший путь в Азию, то несомненно одно: он, идя с юга или с запада, вступил на полуостров именно там, где впоследствии были воздвигнуты Золотые Ворота Византии, которые сейчас называются Едикулек. А другой человек, тоже самый первый, который шел с севера, забрел на полуостров в месте византийских ворот Харисия, теперь – Едирнек. Было это именно так, иного пути не было и быть не могло, ибо не воля людей, а складки земной поверхности определяют дороги. Так же естественно обе тропы встретились тысячах в двух шагов от конца полуострова. Впоследствии в месте встречи образовалась площадь Тавра, в четырехстах шагах к востоку – площадь Константина, а обе старые тропы были названы улицей Меса – Средняя.

Здесь тысячелетиями ходили люди из Эллады, Эпира, Македонии, Фессалии, Дардании, Паннонии, Италии и из Германского леса, из Фракии, Скифии, Киммерии, из всех стран южных, западных, северных, названия которых много раз изменялись. Невозможно узнать, как именовали их люди отдаленных эпох. Но твердо известно важнейшее – жившие за сотни поколений до нас имели такое же тело, как и мы, и столько же драгоценного вещества вмещали их черепа. Они мыслили; они смеялись и плакали, отдаваясь тем же чувствам, которые сегодня вызывают радость и горе их отдаленных потомков.

Какими бы сочетаниями звуков ни обозначали себя населявшие Европу народы, и в дни первых путников, и в гораздо позднейшие, каждый, вступив на полуостров, ощущал здесь близость Востока.

Вот холм, заросший кипарисами. Деревья громадны, таких никто не видел. В черную сень леса можно войти, как в пещеру, и отдохнуть от жары. Нет, вероятно, там обитают боги. Безопаснее не приближаться к неведомому.

Древний путешественник обладал пронзающим зрением. Ему случалось видеть дриаду в зеленой тени рощи. На мягком песке бухты он не раз находил следы перепончатых лап хитрого тритона, а однажды весло его галеры задело гребенчатую спину существа, ничем, кроме обманчивой внешности, не отличающегося от него самого. В волнах он замечал лица с высоким лбом человека над пастью рыбы. Он слышал топот кентавра, смех фавнов. Он знал наверное, что в пене моря у берегов, изрезанных заливами, рождаются тела богинь, дочерей Океана.

Этот человек ничего не знал только о чудесах. Все было естественно и просто – земля населена живыми существами, как небо звездами. Бык мог оказаться богом, по прихоти принявшим облик торжествующей плоти. Следовало благоразумно отвернуться, чтобы не проявить низкое любопытство. Толстый уж, лениво уползший за камень, мог вернуться старцем

в благожелательных морщинах улыбки – сделай вид, что не понял, не уловил тайну метаморфозы. В крике ворона звучало предупреждение, а полет коршунов таил пророчество для судеб не одного смертного, а целого народа.

Родной залив пришельца, горы привычных ему очертаний, долину, холмы населяли, кроме обычных, и особенные существа. Здесь, в новом месте, тоже, наверное, жили свои боги, герои, видения. Необходимы внимание и осторожность, дабы не оскорбить одних, не обидеть других.

Где-то мирно, по-домашнему, лает собака. А вот в роще вечнозеленых дубов каменное здание с двумя колоннами. Легко догадаться – одна в честь Европы, другая – ее сестры. С обрывистого берега видна вода, напоминающая великий разлив великой реки. А за ней – земля, которая носит название женщины, – Азия. Здесь кончилась страна Европы. Внизу у моря ждет челн.

Пора принести жертву местным богам, и путник, войдя в скромный храм Босфора, склоняется перед алтарем. Жрец или рыбак приносит петуха, голубя, может быть – рыбу. Пламя уносит запах жертвы, которым наслаждаются боги и питаются тени героев. Хозяин и гость побратски делят между собой жертвенное мясо, потому что в те времена воинственный палестинский бог, ограничиваясь властью над одним малочисленным народом, еще не успел заразить нетерпимостью другие. Прочие боги, из которых иные были куда кровожаднее единого всевышнего, меньше его боялись соперников.

В дар храму путник приносит серебряный кружочек, кусок бронзы или железа или еще что-либо. Боги берут дань от достатка людей, а вещи изменяют цену. Меняются и боги в течении реки времен. Кажется только, что никогда не изменялись имена двух женщин-сестер, Европы и Азии. Несколько звуков в неистощимой памяти о единстве людей-потомков. Имена умерших нельзя изменить.

Редко кто бросает очаг и богов очага из одного любопытства.

Жрец и путник, воздав должное покровителям, обменивались полезными сведениями. Звучали слова, обозначающие лен, кожи, масло, зерно, воск, амбру, сало... Тревожное наслаждение путешественника соединялось с мыслями о выгоде торговли.

В мире, населенном видениями и богами, также нужно знать цены вещей и выгоды обмена.

Когда эллины попросили Аполлона Дельфийского указать место для новой колонии, бог ответил:

– Против жилища слепцов.

Тогда на азиатском берегу уже сидели в городке Халкедоне выходцы из Мегары. Они «проглядели» великолепную бухту на противоположном европейском берегу, названную впоследствии Золотым Рогом.

Не будем оспаривать предания былых дней...

Удачно сев на торговых путях, Византия, обладательница естественного порта, названного по праву Золотым, быстро затмила Халкедон. Роще священных кипарисов на холме пришлось уступать свое место акрополю-крепости, хранилищу монет, товаров и – богов.

Дальновидно избрав лучший город Востока для новой столицы, император Константин, подражая Ромулу, сам наметил черту новой городской стены. Наметил не плугом, как, по преданию, Ромул обозначил границы будущего Рима, а копьем, на расстоянии сорока стадий от оконечности полуострова. Вскоре стене пришлось отступить еще на шесть стадий.

Не стало хода случайным путникам – Европу разлучили с Азией. Сто сорок боевых башен защищали стену, перепоясавшую перешеек. Восемьдесят башен стерегли стену, закрывшую город от моря. Башни эти были поставлены не так тесно, как на сухопутье, – лишь там, где, по мнению стратегов, возможна высадка врага. Хочешь мира – готовься к войне. Моря воды

утекли с того дня, когда кто-то первым сказал эти слова. Много лет было и другим словам: «человек человеку – волк», – когда возводились византийские стены.

Сделавшись Вторым Римом, старая Византия перестраивалась. Воздвигались арки для новых акведуков, назначенных поить новые цистерны, соперничающие размерами с мандракиями² новых портов. На конце полуострова уселась крепость Власть – Священный Палатий базилевсов. Собрание дворцов и храмов, соединенных крытыми переходами, домов охранных войск, жилищ избранных сановников, складов, садов. Также и обиталищ прислуги и работников, плотных и тесных, как осиные соты, кухонь, спален для гостей, конюшен простых и конюшен роскошных, хранилищ явной и тайной казны, погребов и тюрем рядом с погребами и под погребами – всего, что нужно Священному Палатию, чтобы действовать, есть, пить и спать на пользу империи и по этикету, приличному обители Божественных и Единственных владык империи.

Константин и первые базилевсы обязывали знатных людей переселяться во Второй Рим. Простым людям были обещаны даровой хлеб, легкая жизнь, ежедневные развлечения ипподрома и театров. Ко времени базилевса Юстиниана Византия вмещала около ста мириадом жителей – почти один миллион подданных, считая и рабов.

Особенно много стараний было приложено к украшению Второго Рима. Вся империя совершенно добровольно, как это бывает в империях, выполняла строгие эдикты любимых базилевсов. В Византию из Италии, Эллады, Египта и других провинций плыли колонны, обделанные плиты порфиров, сиенитов, базальта, мрамора всех цветов. О статуях не приходится и говорить. Их красота, иной раз ускользнув от топоров фанатиков-христиан, прельщала христианских владык. Общественное мнение обезвредило мрамор. Пошло и дальше: христианки, легкомысленные в общении с мужчинами, остерегались целомудренной статуи язычницы Венеры. Каждый византиец знал, что однажды ветер грубо сорвал платье с распушенной родственницы одной из базилисс, неосмотрительно прошедшей в опасной близости от бывшей богини любви.

Но – при всей стойкости преданий – люди забывчивы. Тезей и Геркулес переименовывались в Георгия, победителя дракона. Неразлучные Кастор и Поллукс – в святых врачевателей Козьму и Дамиана, Дионис – в святого Дионисия. Явился святой Вакхий, тезка веселого бога вина. Аполлон на колеснице Зари подошел для пророка Илии, живым взятого на небо.

Производились необходимые переделки статуй, срезались атрибуты богов, все эти нечестивые гроздя винограда, лиры, дубины... Попорченные места на мраморе, как и старые легенды, отшлифовывались по-новому. Кое-что приделывали на железных креплениях. И когда штифты, распухнув от ржавчины, сбрасывали добавки, привычка была уже создана.

2

В первые годы правления базилевса Льва Первого трое молодых людей в числе многих пришли в Византию за счастьем. По месту рождения они были иллирийцы, что же касается племени, то этим они и сами не интересовались, как пустяком, не имеющим никакого значения в империи. Объяснялись они на диалекте, распространенном среди чуждых грамоте земледельцев, смешном, но все же понятном для основного населения многоязычной Византии, где господствовали речь и письменность эллинов.

Старшему из них, Юстину, было, по его собственному мнению, года двадцать два, двое других считали себя младшими. Всем им равно приелась жизнь в труде и беспросветной бедности. Юстину удалось захватить с собой короткую шубу из кислых овчин, запаса он дубиной на случай встречи со зверем – человек нищему не страшен – и украл из отцовской кладовки

² *Мандракий* – буквально: загон для овец. Это слово было принято для обозначения закрытых портов, для замкнутых искусственными молами акваторий.

немного хлеба, чтобы хватило хоть на первые дни. Да и хлеб-то был землистый, колкий от неотвеянной половы, переделанный из размоченных сухарей с примесью горсти свежей муки для связи. Не благословение – проклятия родителей напутствовали сына. Силачом вырос, спина прямая, руками вола свернет, но обманул, бросил стариков беззащитными перед жалкой дряхлостью, под розгой сборщика налогов. Не ждать ему счастья. Самим Христом сказано было, что лишь чтущему отца и мать своих бог пошлет блага земные и долговечную жизнь.

В горных местах не только люди – и звери ходят не там, где хотелось бы, и, конечно, не прямо, но раз навсегда повинуюсь горам. Тропой, которая и сегодня ведет человека с одного хребта на другой, ходили люди тысячелетия тому назад. И так же, как тогда, путь прекрасен тому, для кого он нов и – коль впереди светит надежда. Двадцать пять дней ходьбы для человека без ноши отделяли Юстина от Византии. Необходимость добывать пищу удлиняла дорогу. Для невзыскательных людей все годилось. Украденная овца или коза были сущим благословением бога. Нанявшись на три-четыре дня ворочать камни, бродяги обеспечивали себя на неделю.

Искатели удачи знали великую разницу между войсками палатийскими, расположенными во Втором Риме, и войсками провинциальными, охранявшими границы империи. Чтобы наняться в провинциальный отряд, не следовало тащиться так далеко. Но на границе хуже платили. А случаев потерять руку или ногу находилось больше, чем желательно разумному человеку.

Византия оглушила пришельцев. Они робко бродили около Палатия, не решаясь приблизиться, они страдали от сознания своего ничтожества, их мучило непонятное разочарование. В страшном городе они не рисковали красть, хотя для этого, казалось, достаточно было протянуть руку. На третий день изголодавшийся Юстин, втершись в свиту какого-то патрикия, решил влезть в Палатий.

Юстин вернулся уже в сумерки, когда товарищи успели мысленно похоронить его. Юстин не только был сыт, он покровительственно приказал товарищам следовать за ним. С этого часа о дальнейшей судьбе его спутников ничего не известно, что вовсе не значит, что с ними приключилось дурное. Просто из многих существований сохранились описания лишь выдающихся.

Высокий ростом, с фигурой и могучей и красивой, с приятным лицом, Юстин был зачислен в палатийское войско. Позднее базилевс Зенон, прозванный Исаврянином, включил Юстина в состав своих избранных солдат. Они назывались ипаспистами, то есть копьеносцами, щитоносцами, – гвардией базилевса или его полководцев. Из этих людей, которые были известны поименно, способности которых проявлялись на глазах их повелителя, избирались начальники отрядов и командующие армиями.

После смерти Исаврянина его соотечественники причинили много беспокойств империи и новому базилевсу Анастасию. Юстин оказался в числе начальствующих в войске ромеев, вторгнувшихся в Исаврию – горы Малоазийского Тавра.

В этом же походе Юстин был обвинен командующим Иоанном Киртом-Горбачом в хищении добычи, заключен в тюрьму, но вскоре обелен полностью. Случай в свое время был известен малому числу лиц. В дальнейшем ничто не мешало возвышению Юстина на службе в Палатии.

Недоразумение между командующим и подчиненным через многие годы стало многозначительной легендой, в которую люди сумели вложить свой взгляд на бога и власть, выразив его в символах времени. Вопреки опасности обвинения в оскорблении базилевса – шпионы кишели – подданные рассказывали:

– Не просто Иоанн Кирт помиловал виновного Юстина, но повинуюсь призраку, который повелел вернуть свободу и не преследовать человека, избранного сосудом для выполнения воли божьей... – И добавляли: – Страшное видение грозило Кирту карами в этой жизни и в той

за противодействие воле божьей, ибо бог, исполнившись гнева на империю, хочет использовать Юстина и его близких как орудия наказания людей...

После исаврийского похода базилевс Анастасий поставил Юстина префектом всех палатийских войск, конных и пеших. На торжественном наречии Палатия эта должность именовалась «комес доместикорум милитум эквитум эт педитум». Из греко-латинского слова «комес» в дальнейшем франки сделали слово «конт» – «граф». Анастасий доверял Юстину – власть и возможности палатийского префекта были велики. Как в Первом Риме префект преторианцев, византийский комес доместикорум, выказав себя мятежником, мог бы распорядиться и престолом. Уже старик, Юстин научился плавать в мути дворцовых омутов, угрем ускользая от интриг коварных фаворитов, вечно озлобленных евнухов, избегал вмешиваться в распри духовенства, сдобренные фанатичными спорами о сущности бога и о взаимоотношениях сил внутри христианской Троицы.

Споры о тонкостях вероисповедных догм происходили не только в дни Юстина. В первые века христианской империи и в дальнейшем прения о вере стоили жизни многим миллионам подданных Второго Рима.

Церковники подозревали базилевса Анастасия в ереси монофизитства, распространенной в азиатских владениях империи и среди византийского плебса. Монофизиты исповедовали, что в личности Христа слилось и божеское и человеческое. Правящая церковь сочла правильной усложненную догму Никейского и Халкедонского соборов, требовавшую веровать, что эти два начала соединены в Христе нераздельно, но неслиянно. В пользу ловкости Юстина говорит то, что он был известен Византии как истовый кафолик, приверженец правящей церкви.

В массах христиан была распространена уверенность в том, что от правильности исповедания зависит, в аду или в раю протечет жизнь вечная. При общей вере в загробную жизнь только редкие единицы умели отвернуться от вопроса о догме. Из-за догмы возник мятеж в Александрии. Население перебило гарнизон. Патриарх Протерий был растерзан:

– Из-за твоего неправильного исповедания мы все пойдем в ад!

В год смерти базилевса Анастасия Юстину исполнилось семьдесят восемь лет. Старец-префект уже давно вызвал родственников из иллирийских захолустьев, и его племянник Юстиниан не только получил хорошее образование, но и проделал некоторую дорогу на государственной службе.

В Византии родовая преемственность престола не предусматривалась законом и не существовала в сознании подданных. Брал власть тот, кто одолевал. Но самодержавие само по себе никем не оспаривалось. За исключением некоторых ничтожных по своему числу и влиянию образованных людей, кому еще мерещились отжившие призраки олигархических республик былой Эллады и старого Рима, массам подданных единовластие представлялось естественным состоянием государства. Хорош или плох базилевс? Такой вопрос еще мог возникнуть у подданных империи. Но никто и нигде не противопоставлял самодержавию иную систему правления.

У постели умирающего Анастасия евнух Амантий, носивший звание блюстителя священной опочивальни – министр внутренних дел позднейших времен, – назвал преемника и вручил бесстрастному старцу-префекту Юстину несколько тысяч фунтов золотой монеты для покупки доброй воли дворцовых войск. В казне базилевса лежало триста тысяч фунтов драгоценного металла: Анастасий был бережлив.

В сопровождении сорока человек, из которых каждый нес мешок с кентинарием – ста фунтами золота, Юстин устроил смотр палатийских отрядов и купил их в свою пользу. Потом резали опасных для нового базилевса сановников, под благовидным предлогом вызывали из провинции неблагонадежных полководцев, которым сначала льстили, а затем убивали. Проис-

ходило обычнейшее очищение среды сановников, как сотни раз бывало до Юстина, как повторялось и после него в течение многих веков.

В самой Византии новый базилевс был принят с благословением католического духовенства. Провинции также приняли нового базилевса, и резня ограничилась пределами Палатия. Свой человек, племянник базилевса, Юстиниан был объявлен полководцем Востока. Он не водил войска – базилевс был стар, и не следовало отлучаться из города. Юстиниан выбрал несколько начальников, которым доверялись военные действия; осторожный и дальновидный, племянник базилевса предпочел бы проиграть войну, чем сосредоточить опасное главнокомандование в одних и твердых руках. С этих лет становятся особенно очевидны усилия автократоров поддерживать в армиях разнь, спасительную для прочности престолов.

Базилевс Юстин, пользуясь верноподданнической помощью квестора Прокла, подписывал пурпурной краской эдикты, обводя вырезы в золотой – обязательно золотой! – дощечке. Вырезы изображали латинское слово «*legi*», что значит «я прочел». Неграмотный базилевс ничего не мог прочесть, традиционная формула лгала, что, впрочем, бывало в той или иной форме чаще, чем привыкли думать подданные. Квестор Прокл славился в Палатии безупречной честностью, которая проще обычной, ибо заключается лишь в беспрекословном исполнении приказаний и в отсутствии своего мнения. К тому же интересы неграмотного дяди зорко охранял весьма грамотный племянник – Соправитель.

На ипподроме византийцев развлекали пышными и захватывающими состязаниями, играми, представлениями.

Вперемежку с конскими бегами подданные услаждались травлей медведей, африканских львов, пантер, диких нубийских быков. Щедро раздавались хлеб и деньги. Византия счастливо чествовала нового правителя, сменившего скупца Анастасия, который наполнил казну для непрошенных преемников.

Суэта сует и всяческая суэта, как сказал древний повелитель Палестины, один из богатейших владык своего времени.

3

Власть упрочилась. Именно тогда, в первые месяцы упоения ею, только с течением лет делающегося привычным, во время богослужения в старой базилике Софии Премудрости, в паутинно-серых струях ладана, в созвучных песнопениях хора, Соправителю явилось лицо женщины. В Византии было много красавиц, но это лицо, особенное, показалось Юстиниану цветком водяной лилии, поднявшимся в тумане над болотом. Соправитель осведомился. История Феодоры, изложенная в закругленных фразах евнуха, не удовлетворила любопытства Юстиниана. Дальнейшие действия Соправителя были тайны, как ход червя под землей. О них ничего не известно.

Зато подробно, очень точно, с дней раннего детства известна жизнь женщины, навсегда пленившей базилевса Юстиниана.

В христианской империи конские бега заменили бой гладиаторов, и арена³ вытянулась в овал ипподрома. Византийский ипподром своими размерами превзошел римский Колизей Колоссальный. Под амфитеатром каменных скамей-трибун скрывался маленький город: клетки для диких зверей, травлей которых зрители-христиане столь же увлекались, как их языческие предшественники, конюшни, склады, жилье для прислуги. В этом пропахшем нечистотами мирке и родилась Феодора, но это ей не в упрек.

Акакий, отец будущей базилиссы, служил смотрителем зверей прасинов – зеленых, одной из «партий ипподрома». Акакий занимался и уборкой ипподрома.

³ Арена – песок (лат.).

Корзины для мусора наполнялись не одними объедками, пригодными для кормежки зверей и собственного потребления уборщиков. Находились целые фрукты, печенье, хлебцы, куски жареного и вяленого мяса, сала, подходящие для продажи⁴. В мусоре попадались монеты, драгоценности, гребни, флаконы с ароматами – все, что могут потерять люди, обезумевшие от бега квадриг. Частые драки между приверженцами состязующихся тоже оставляли не одни трупы и кровь на камне трибун.

Когда Акакий безнадежно заболел, его будущая вдова избрала одного из многих желающих женитьбой наследовать выгоднейшую должность. Но главный распорядитель хозяйства прасинов мим Астерий, подкупленный отвергнутым вдовой претендентом, решил по-иному. Осталась последняя надежда – добиться милости зрителей.

Однажды перед началом зрелищ заплаканная женщина и три девочки встретили византийцев, спешивших занять места. Женщина стояла в униженной позе, как бы прося подаяния, девочки, лоя прохожих за одежду, кричали:

– Взгляни и сжался над детьми усопшего в боге Акакия! Дайте хлеб и кров несчастным сиротам. Сжальтесь!

На головах просящих были венки из увядших цветов, в руках – мятые гирлянды зелени: знак тех, кто ищет милости зрителей.

Младшей, Анастасии, было семь лет, Феодоре – девять, старшей, Комито, – тринадцать. Феодора не забыла рук, отбрасывавших ее как помеху, запомнила ругань, пинки. Прасины презрели мольбы детей. Взяли чужие, венеты, синие. У них тоже умер надсмотрщик, и его место получил вотчим сирот. Во всем этом нет упрека Феодоре.

Девочки, которые привыкли дышать острым смрадом хищных зверей, по сравнению с чем запах скаковых конюшен кажется фимиамом, девочки, которые умывались из грязного ведра, если вообще они умывались, девочки, которые привыкли утолять голод кусками, подбренными на трибунах, со следами подошв и плевков, – расцветали красавицами, как пионы и гиацинты на навозе. Мать поспешила пристроить старшую, Комито, в труппу мимов. Девушка имела успех и состоятельных покровителей. Феодора следовала повсюду за старшей сестрой как рабыня – в хитоне с длинными рукавами, прислуживая и присматриваясь.

В христианской империи театр оказался необходимым, как и в языческой. Светочи христианства проклинали лицедейство, но не могли его искоренить. В мире языческом актриса могла сохранить уважение к себе и пользоваться уважением общества. В христианском – она была объявлена блудницей и блудницей стала, проклятие исполнилось. Грех оказался сильнее проповеди, его терпели; мирянин впадал в заблуждение с блудницей, очищался исповедью и причастием, вновь грешил, вновь получал прощение. Но для девушки, прикоснувшейся к театру, возврата не было.

Именно поэтому, будучи еще незрелым подростком, Феодора считала естественным за деньги отдавать себя. Она зарабатывала на жизнь, как другие, такие же как она, и иного она не знала в столице империи, богатой храмами святых и убежищами монахов.

Она обладала могучим здоровьем, изумительной стойкостью, терпеливостью. Другие, как и ее сестры, быстро сгорали, а Феодора хорошела и хорошела. В шестнадцать лет она казалась ангелом, каких творило воображение верующих, а иногда и кисть живописца. Она была уверена в своем обаянии и не захотела, как другие, учиться петь, танцевать, свистеть на флейте или овладеть струнными инструментами. Ведь все это приводило лишь к одному – повелевать страстями мужчины. Она училась этому искусству, главному. И достигла цели: приблизившийся к ней однажды искал и искал новых встреч.

⁴ Еще в XIX и XX веках дворцовая прислуга торговала остатками царских столов, и небезвыгодны были должности уборщиков цирков, ипподромов – мест, где зрители чрезмерно увлекаются зрелищем.

Выступая с мимами на эстраде, Феодора привлекала общее внимание: она была всегда неожиданно остроумна и не стыдилась ничего. Когда по ходу пьесы ее били по щекам, она смешила. И вдруг заставляла зрителей замирать от какого-либо нежданно-бесстыдного движения или намека. В ней поистине потрясало выражение невинности в сочетании с утонченной смелостью, обещавшее всем и каждому в отдельности нечто необычайно греховное. В ней проявлялось дьявольское, она казалась дочерью Лилит, а не земной женщины. Ей было позволено то, что у другой было просто гадостью.

Феодора не знала усталости, под гладкой, без единого порока кожей скрывались мускулы из бронзы, сердце носильщика гранитных плит, желудок волка и легкие дельфина. Ни одна болезнь не приставала к этому телу.

Законы христианской империи воспрещали выступления на арене полностью обнаженных женщин. Однако же в Византии действовал театр под откровенным названием – Порнай. Проклятый служителями церкви, театр продолжал существовать, и одной из его опор сделалась Феодора. Закон кончался на пороге Порная.

Молодая женщина завоевала черную славу бесславия. Случайное прикосновение к ее одежде уже оскверняло. Случайная встреча с Феодорой утром считалась дурной приметой на весь день. Сотоварки, менее удачливые, чем Феодора, ненавидели актрису: тонкая наблюдательность Феодоры наделяла их обидными прозвищами, которые прилипали на всю жизнь.

Патрикий Гекебол, человек немолодой, но исполненный веры в силу христианского раскаянья, влюбился в Феодору. По примеру многих влюбленных он вселил в актрису Порная евангельскую Марию Магдалину. Патрикий уезжал. Базилевс Юстин назначил его префектом Ливийского Пентаполиса, области пяти городов Ливии.

Патрикий тщился соединить порывы поздней страсти со спасением двух душ. И в том и в другом он оказался несостоятельным. Постаревший за несколько месяцев на годы, истощенный, пресыщенный, Гекебол выместил свое жалкое бессилие на неудачливой Магдалине.

Префект – он указом изгнал блудницу из Ливии. Феодора добралась до Александрии на купеческом судне, платя сирийцу-хозяину своим телом.

Скитаясь по Малой Азии, Феодора упала до последнего разряда, цена которому два медных оболы. Тогда в золотом статере еще считали двести десять оболы.

Круг завершился, Феодора вернулась в Византию, где слишком многие познали ее и где все слышали о ней. Иной возвращается неузнаваемым. Феодора осталась собой – считали, что жемчужина, забытая на годы в клоаке, не теряет блеска. Феодора сумела принести горсточку статеров в поясе-копилке, который надевали на голое тело, и уверенность в бессмыслице, в глупости своей жизни: хоть и поздно, но опыт с префектом Ливийского Пентаполиса научил ее многому. Много было обдуманно и в тяжких скитаниях по старым греко-римским городам Малой Азии.

Как и в Риме италийском, в Византии было много четырех- и пятиэтажных домов, построенных богатыми, чтобы наживаться на сдаче жилья внаем. Феодора наняла комнату, похожую на стойло или на монастырскую келью.

Доска на двух чурбаках, застеленная куском грубой ткани из тех, что выделывают сарацины-арабы, ящик, на котором можно сидеть и где можно спрятать скудное имущество, две глиняные чашки и кувшин для воды – такова была обстановка, в которой началась новая жизнь.

В хитоне из небеленого холста, со скрещенными руками, с опущенной головой, – наедине ей приходилось заниматься гимнастикой, чтобы сохранить прямизну спины, – Феодора не пропускала ни одной службы в Софии Премудрости, что рядом с Палатием. Женщину слишком знали в Византии, и долгие месяцы она подвергалась насмешкам, от нее гадливо сторонились

священники, отказывая в причастии. Феодора терпела. Евтихий, пресвитер⁵ Софии, сжалившись, наложил на кающуюся тяжкую епитимью. Хлеб и вода и десятки тысяч поклонов перед образом Марии Магдалины, назойливо напоминавшей Феодоре о Гекеболе. Так много глаз следило за Феодорой, что епитимья была неподдельной, а искушения, непреклонно отвергнутые ею, стали известными.

Кающаяся грешница исхудала, но здоровье не выдало, и Феодора сделалась еще красивее, чем была. Закон был суров, сколько бы ни каялась блудница, для нее не было возврата, кара смягчалась в настоящей жизни, вечной, но не в этой земной, временной.

Евтихий милосердно позаботился о честном труде для грешницы. Ее оскверненным рукам нельзя было доверить облачение клира; она шила хитоны для отрядов палатийских войск, но и то не всех, а лишь нанятых среди племен варваров.

Наконец ее допустили к причастию.

Феодоре был нужен второй Гекебол, богатый, могущественный. С ним она не повторит ошибок, совершенных с первым. Она сумеет овладеть его чувствами и разумом через чувства. Другой дороги для нее нет.

Впервые Юстиниан и Феодора встретились на загородной вилле. Женщину доставили сюда доверенные евнухи Палатия. Она не сопротивлялась, зная, что отказ будет сломлен насильем.

Задолго до встречи будущего базилевса, тогда еще Соправителя своего дяди Юстина, и бывшей актрисы Порная остывшие сердцем мудрецы Леванта, стараясь объяснить стремление мужчины к женщине и женщины к мужчине, придумали рациональную, на их взгляд, теорию о половинках душ, вложенных богом в тела людей. Любовь есть поиск своей половины, ошибки любви – ошибки поиска. Так просто, так все оправдано для всех, навсегда...

Через несколько месяцев после первой встречи Юстиниана и Феодоры базилевс Юстин изобразил леги под эдиктом о присвоении Феодоре звания патрикии. Новая патрикия обладала домом в Византии и той самой виллой, где произошла первая встреча. Десятки кентинариев государственной казны превратились в позолоченную скорлупу возлюбленной Юстиниана. Деньги и роскошь любовник может дать, может и отнять. Влюбленные задумали связать себя браком. Кафолическая церковь не признавала развода.

Закон запрещал верующим христианам браки с женщинами дурного поведения. Жена Юстина, базилисса Евфимия, пришла в ярость при вести о намерении племянника мужа. Сам Юстин некогда сделал пленницу Евфимию своей наложницей, затем женился на ней. Тогда она носила имя Луппицины. С врожденным у варваров упрямством Евфимия-Луппицина заставила Юстиниана дожидаться ее смерти. Вдовец Юстин утвердил новый эдикт. Отныне, памятуя заветы Христа и милосердие божие, империя возвращала все права блудницам, когда они доказывали примерным целомудрием отказ от пути греха. На голову Феодоры поднялась диадема базилисс.

Юстин еще жил, его имя еще стояло на эдиктах, еще длилось правление Юстина: византийцы считали годы по базилевсам и налоговым периодам. Но Юстиниан правил один. Душа медленно, неохотно расставалась с телом старого базилевса.

Не шевелясь, он лежал на спине, пугающе громадный скелет под императорским пурпуром. Его длинные волосы бережно раскладывали на подушке, чтобы они образовывали нимбсияние, как на иконах святого Юстина-мученика, автора благочестивого труда «Возвеличение веры Христовой». Память того Юстина, замученного язычниками (в год шестьдесят седьмой от рождения Христа, а от сотворения мира в году пять тысяч шестьсот шестидесятом), сла-

⁵ Пресвитер – старейший. Первоначально его власть равнялась епископской, впоследствии уменьшилась. В настоящее время – священник.

вилась церковью тринадцатого апреля. Этот день отмечался особо, как тезоименитство правящего базилевса. Но сам базилевс уже не помнил имени своего святого.

В самое разное время и не однажды в день Юстиниан навещал своего дядю-Соправителя.

Он вглядывался в иссохшее лицо с пропастью беззубого рта – подбородок отваливался, как у мертвого, и рот казался черным провалом внутрь тела. Юстиниан ловил взгляд тусклых, налитых водой глаз. Зрачки напоминали плохо полированное стекло, морщины были как железные, хотя лицо и тело базилевса мыли душистым уксусом, умащивали нежными мазями из кашалотового воска, воды и розового масла.

– Как твоя душа, Божественный? – спрашивал Юстиниан.

Громкое дыхание прерывалось, базилевс тщился произнести нечто. Юстиниан склонялся, вслушивался. Однажды он уловил:

– ...раньше ушел бы... если бы знал... уйти хочу...

Уйти не давали. Несколько раз в день двое врачей осторожно откидывали императорский пурпур, поднимали белоснежные простыни. И внезапно через побежденный запах роз грубо, как меч, пробивалось тяжелое зловоние.

Сильные рабы медленно, чтобы старик не почувствовал, подсовывали руки в перчатках из нежного меха и, не дыша, согласным усилием не поднимали – возносили громадный костяк. И все же Юстин жалобно кричал:

– Ай-ай-ай!..

Юстиниан понимал, что старец кричит не от боли. От отчаяния жаловалось тело, слишком зажившееся на этом свете. Юстин не хотел, чтобы его трогали. В неподвижности он, может быть, еще создавал себе сон-мечту. Уложенный на чистое полотно базилевс ловил воздух кистями рук, что-то нащупывал. Встретив протянутую руку племянника, старец оттягивал свою, подобно улитке, которая, ощутив жар уголька, сжимает и прячет в раковину рогатую голову с трепещущими щупальцами слепых глаз.

Да, никто не мог сказать, что молодой базилевс забросил старого, поручив его заботам наемников. Для Юстиниана дядя был больше отца с матерью. Чтущему родителей своих будет благо, и долголетен он будет на земле.

И жизнь в Юстине еще тлела.

Трижды в день священники и раз в неделю сам патриарх отправляли богослужение у ложа базилевса Юстина, ежедневно его причащали тела и крови Христовых. Поистине он был счастлив, освобожденный от груза греховности. А то, что он не мог умереть, касалось его, не Юстиниана.

Иногда, вздрогнув, Юстиниан от ложа старца торопился прямо в Священную Опочивальню Феодоры-базилисы.

Молча его приветствовала стража, молча, скрестив руки на груди, склонялись евнухи в приемной базилисы, склонялись сенаторы, патрикии, военачальники, которые часами изнывали в тесном коридоре около приемной в надежде увидеть лицо базилисы.

За приемной начиналась святая святых, у входа сторожили черные и белые колоссы-спарии испытанной силы и проверенной преданности. Следующие залы, кроме базилевса, были доступны только избранным евнухам, отборным рабьям, приближенным наперсницам и слепым массажистам. Здесь на стенах зеркала в форме дисков, прямоугольников, многоконечных звезд, грандиозных цветов удивительно расширяли пространство. Полированное серебро множило сияние рубиновых и сапфировых лампад, повторяя и передавая лики святых на иконах, фигуру самого базилевса, окованные позолоченными полосами железа шкафы, лари, сундуки с имуществом базилисы и ее казной, обильной новенькими статерами, знавшими прикосновение только рук монетного мастера и казначея.

Рука базилевса откидывала последний занавес.

Империя, особенно Византия, была набита шпионами базилевса, доносчиками городских префектов, ищейками палатийского префекта и других сановников. Не следовало рассуждать о чем-либо, не касавшемся личных дел собеседников.

По слабости человеческой, поджигающей и поджигавшей любопытство или любознательность, народ болтал о секретах власти, о магической силе Феодоры, околдовавшей Юстиниана. Поговорил – и забыл. Бесспорно одно: так называемая «вся» Византия видала Феодору на театрах участницей сцен, позорных для женской скромности; многие пользовались ее «милостями». Ныне же все склонилось перед базилиссой. По этикету ее приветствовали целованием ног.

Таясь от самых близких, очевидец писал:

«Никто из сенаторов, видя позор империи, не решался высказать порицание и воспротивиться: все поклонялись Феодоре, как божеству. Ни один из священнослужителей не протестовал открыто и громко, и они все беспрекословно были готовы провозглашать ее владычицей. А тот народ, который видел ее выступления на театре, немедленно и до неприличия просто счел справедливым сделаться ее рабом и поклоняться ей. Ни один воин не исполнился гневом при мысли, что он умирает в бою лишь за благополучие Феодоры. Все, кого я знаю, преклонились перед предназначением свыше, и каждый, я видел, содействовал общему осквернению государства...»

Некоторые позднейшие писатели, наивно судя о событиях прошлого с точки зрения своего времени, утверждали, что Феодора не была куртизанкой, ибо в таком случае Юстиниан не решился бы из страха перед общественным мнением сделать ее базилиссой. Эти историки не знали, что нет невозможного для самодержавной власти и что бывали эпохи, когда так называемое общественное мнение отсутствовало полностью.

Вероятно, любви не учатся по книгам. Конечно же, не встреча блуждающих половинок душ, не магические чары и приворотные напитки сделали опытейшую куртизанку Феодору женой базилевса и его соправительницей. Мудрейшая, она умела дать своему супругу ощущение великой силы мужественности.

Базилисса, следуя советам опытных врачей, принимала особую пищу и много спала. Для базилевса же она всегда бодрствовала. Разумно и вкрадчиво она давала хорошие советы, уместные и ожидаемые. Юстиниан покидал Феодору, зная: он сам велик и лишь от его воли зависит длить и длить счастье жизни даже сверх обычной человеческой доли.

4

Базилевс Юстиниан, Божественный, Единственный, Несравненный, спал очень мало. Деятельный, подвижный, действительно он обладал сверхчеловеческой выносливостью.

Базилевс уделял чрезвычайное внимание законам, во всяком случае не меньшее, чем делам религии или делам войны. Законы обеспечивали поступление налогов, золото есть кровь империи. Уже осуществлялся единственный в истории труд, собирались, проверялись, исправлялись старые законы для единого свода – Кодекса Юстиниана. Издавали новые законы, пояснения, уточнения. Квестор Палатия легист Трибониан служил главным орудием законодательной деятельности Юстиниана.

– Уже трудно постичь разницу между сервом и приписным. Оба одинаково находятся во власти владельца земли или в моей, если они сидят в моих владениях. Разве только одно: иногда серв может получить отпускную, а приписной – нет. Приписной уходит от владельца вместе с куском земли, которая может быть продана. Для него лишь изменяется лицо господина, – говорил Юстиниан квестору Трибониану.

Квестор, человек тонкого воспитания, умел не глазеть в упор на базилевса, как это делали грубые солдаты. Короткий взмах ресниц, внимательное, но не назойливое выражение лица,

улыбка скромная, почтительная, которая не кривила губы лишь по приказу этикета, но как бы следовала за мыслью автократора, – все это легко давалось Трибониану. Он без внутренней фальши обожал Величайшего.

Юстиниан любил себя. Его сильный, гибкий ум был укреплен безусловной верой в собственное совершенство, в непогрешимость. Взирая на всех как с вершины, доступной лишь для него, базилевс не нуждался ни в позе, ни в резкости. Он как бог, все остальные слабы и грешны. Поэтому базилевс мог быть естественно мягким, мог терпеть чужую тупость, медлительность. На самом деле! Ведь эти, они, которыми он должен пользоваться, таковы по своей ничтожной природе. Так объяснялась сила личного обаяния Юстиниана, казавшаяся издали колдовской. Ведь Божественный даже прощал, и прощал необычайно многое. Кроме одного: святотатственного покушения на его диадему. Пусть лучше погибнет сто невиновных, чем увернется один виноватый.

Трибониан считал, что Божественный гениально понимал дух законов. Сейчас Юстиниан коснулся одной из главнейших вещей – отношения человека к земле. «Вернее, – внутренне поправился квестор, уточняя выражение, – связи между пашней и работником. Главный источник доходов империи – пашня».

Трибониан знал, что в древности свободный земледелец-колон – римский гражданин был членом уважаемого сословия республики и ее опорой. Сила Рима жила в войске, сила войска – в свободных по рождению легионерах, из земледельцев-колонов, способных ограбить любое государство для обогащения своего. Еще при республике в законах начали появляться особенности. При императорах, подобно слоям речного ила, копились изменения мелкие, малозаметные каждое в отдельности, учащались оговорки, ссылки, умолчания. С настойчивостью воды законы растворяли и уносили права свободных земледельцев. Законы работали не клыками произвола, а зубами мелкими, как песчинки. Они терли, а не грызли, они отъедали понемногу, и каждый укус в отдельности не причинял боли.

Свободный земледелец-колон переставал упоминаться в установлениях, которые определяли права подданных при вступлении в брак и на наследование имущества, право распоряжаться собственностью, заключать договоры. Ранее колон пользовался неограниченной потомственной свободой. В дальнейшем как-то само собой получилось, что лично свободный колон уже не передавал положение свободного человека сыну. Мимоходом упоминалось, что колон не может считаться стороной на суде, не может заключить договор на поставку материалов, товаров. Кроме колонов, появились новые земледельцы – приписные. В приписного превратился ранее свободный человек, отныне бессрочно закрепленный на земле того владельца, где его застал закон. Приписной как будто бы занял среднее положение, втиснувшись между рабом и колоном. Но между самим колоном и приписным оставалось не больше различия, как между приписным и сервом-рабом, «сидящим на пашне», в отличие от раба в доме, употребляемого владельцем для ремесла или личных услуг.

Рабство как бы засасывало подданных империи, и стыдливый закон умел не называть вещи своими именами. Все – для общего блага. Законы делали вид, что лишь признают естественно сложившиеся формы, не более. Подданные платили десятки податей разных видов, власть же понимала, что именно обработанная земля служит источником всех доходов, поэтому нельзя было уходить с земли, как бы ни именовалась сама подать. Одинаково ловили и водворяли обратно и колону, и приписного, и серва. Желавший жениться на женщине из сословия колонов обязан был для начала засвидетельствовать перед властями свое согласие прикрепиться к земле: прежде брака с женщиной заключался брак с пашней.

– Да, Божественный, – говорил Трибониан, – только пашня владеет земледельцем. Легист, помня это, легко применяет законы. Пусть же невежда впадает в самоутешение, серв пусть завидует приписному, приписной – колону. Все люди тешатся званиями.

– Бог от века благословил землю и труд земледельца, – размышлял Юстиниан вслух. – Мои законы всегда должны защищать право земли быть обработанной. Это не противоречит свободе людей, установленной Христом. Не противоречит, говорю я! Выражай это в законах!

– Конечно же, Божественный! – воскликнул Трибониан. – Долг земле есть извечный закон бога, данный Адаму. Бог совершил нерасторжимый брак пашни с трудом человека.

– Благо империи есть благо людей, понимаемое через благо империи, – с удовольствием говорил Юстиниан. – Благо состояние подданного зависит от исполнения его обязанностей к империи, определенных моей волей через законы. Я, ты знаешь, позволяю многое... тем, кто полезен империи. Запиши: кто примет бежавшего колона – вернет его и заплатит два фунта золота прежнему хозяину как владельцу земли.

– Единственнопремудрейший, я понимаю. Хозяин получает колона обратно не как владелец его личности – лично колон свободен, – но как представитель земли, пашни.

– И, – продолжал Юстиниан, – нельзя давать право случайному, понимаешь, случайному владельцу земельных угодий говорить о потерях от бегства колонов. Два фунта золота! Пусть ищет беглецов. Но пусть не смеет просить о снижении налога. Я не допущу, чтобы владельцы зазнавались. Они подданные, как все.

– Несравненный, ты можешь превратить любого собственника в колона, у тебя есть великое право конфискации.

Юстиниан мог прилечь, сказав себе: «Я проснусь через четверть часа», засыпал мгновенно и вставал свежим, будто спал целую ночь. Базилевс лежал на боку, положив щеку на ладонь.

Оберегая сон владыки, Трибониан глядел на стенную живопись. Ее содержание много говорило человеку, по праву славившемуся как не имеющий равных в знании законов империи, начиная с первых постановлений Итальянской республики, записанных впоследствии по изустному преданию. На одной стене полководцы приводят к базилевсу покоренных владык и побежденные племена; на другой – исполин базилевс, как египетский фараон, держит за волосы крохотных пленников. Но самым значительным для Трибониана была икона святого Георгия: победитель дракона имел черты лица Юстиниана.

«Да, империя развивалась последовательно, – думал Трибониан. – Еще Юлий Цезарь, побывав в Египте, понял, что нужно императору: он сделал себя Понтифексом Максимусом, Великим Жрецом, и объявил народу о божественности своего происхождения. По матери Цезарь считал себя потомком Нумы, по отцу – Венеры. Цезарь правильно начал. Забыв об охране, он пал, дав преемникам урок о необходимости бдительности. Но кинжалы убийц не доказали их правоту...»

«Как же было далее, – спрашивал себя Трибониан. – Последующие императоры объявили себя богами. Но преемник сбрасывал статую предшествующего бога. Почему? Не было настоящей опоры на небе. Последний из них, Диоклетиан, объявив себя сыном Юпитера, попробовал путем усыновления создать круг богов. Он научился этому тоже у Египта, размышляя о старых фараонах. Но и Диоклетиан потерпел неудачу. Хотя он особенно ясно понимал, что народы нуждаются в твердой власти, тверда же лишь обожествленная власть...»

Возложенный на Трибониана труд по сбору, проверке, отбору и приведению в стройный вид римских законов сделал из него историка. Лучше, чем кто-либо, Трибониан умом юриста-законоведа понимал тонкие ходы, которыми прокладывал свой путь к власти первый император-христианин Константин. В своей борьбе с другими претендентами Константин объявил себя поклонником Солнца. Ведь его опора – галльские легионы имели в своих рядах большое число поклонников этого культа. Им объяснили, что Константин происходит из рода древнейших поклонников Солнца, как его знаменитый предок Клавдий Тиберий Друз. И все же это была старая дорога. «Гениальность, – думал Трибониан, – заключается в нахождении нового».

Константин, принеся в Византию Солнце, заметил, что в умах людей явно гаснут языческие верования. Нельзя было не замечать христианства, овладевшего чувствами большинства подданных. И вот сияние Солнца затмилось Христом Пантократором. Константин нашел новую опору для императоров. Просто как будто бы? Нет, Трибониан понимал, как все это трудно, как много нужно труда и времени, чтобы слово стало действительно делом.

И для Трибониана единственным из всех императоров и первым способным сделать власть базилевса действительно божественной был Юстиниан.

Юстиниан открыл глаза, такие ясные, будто он и не спал. Трибониан бережно обнял ноги базилевса и с дрожью восторга произнес:

– Я боялся, Величайший, что бог сейчас возьмет тебя живым в свое лоно. Мне, смертному, уже виделось раскрывшееся небо. Ты проснулся, Святейший, ты с нами. Прости мое ничтожество!

Трибониан плакал:

– Знаю, по превосходству твоей природы ты равен величием божеству, ты подобен Христу. Поднявшись ввысь над бездной человеческого моря, ты узнал, что прекрасно в небе; будучи еще во плоти, ты беседуешь с бесплотными. Ты достигнул престола, видя, насколько Вселенная нуждается в твоей власти.

Юстиниан приподнялся, квестор отступил. Его слезы высохли, но экстаз продолжался:

– Когда ты покоришь Вселенную, лишь тогда, освободившись от подверженного страданиям тела, ты вознесешься на лучезарной колеснице и в бурных вихрях достигнешь родной обители эфирного света, откуда ты, будто заблудившись, нисшел в человеческое тело, чтобы спасти империю и весь мир...

Базилевс протянул руку. Как иконы, Трибониан коснулся губами пальцев Божественного. Юстиниан погладил голову верного слуги:

– Ты понимаешь меня. Где мой Каппадокиец?

– Он ждет, Божественный.

Все знали, что базилевс, прервав дело, возобновляет его там, где остановился. Он все помнил, ничего не забывал.

Начальник дворца префект Иоанн, прозванный Каппадокийцем по месту рождения в отличие от многих других Иоаннов, был человеком иного происхождения и другой внешности, чем сухощавый, изящный патрикий Трибониан.

Иоанн Каппадокиец писал бойко, не задумываясь над грамматикой, – было бы понятно. Считать он умел с чрезвычайной быстротой, а точностью мог поспорить с любым хранителем государственных складов, с любым апографом – управляющим сбором налогов, и даже с сирийским купцом. Вся остальная наука в его глазах была глупым сором. Грубый телом, больше шеротый, с крупной бородавкой на кончике толстого носа – ненавистники прозвали его Ринокерасом – Носорогом, – Иоанн Каппадокиец любил говорить:

– Нет добра, нет зла. Есть польза Божественного или вред. Базилевс есть проявление бога на земле. Чего еще тебе нужно?

Трибониан откинул засов из кованой меди, изображавший человеческую руку, и пальцами пробежал по краю стены, разыскивая тайные выступы. Секретные запоры, невидимые для непосвященных, были устроены в некоторых залах и кубикулах палатийских дворцов. В Египте еще сохранялось кое-где редкостное умение прятать в стенах замки, управляемые легким нажатием руки, но чрезвычайно прочные. Щедро вознагражденных египетских мастеров погубила буря около устьев Нила.

Впустив Каппадокийца, квестор отошел в сторону и вынул таблички для заметок. Даже когда удастся создать систему законов, стройную, как небесная иерархия, законодатель не может остановиться: применение нуждается в новых и новых определениях, разъяснениях.

Наиболее сложен вопрос о собственности. Частная собственность, естественно, служила и должна служить основой всех взаимоотношений между людьми. Собственность нуждается в непрерывной защите, и вместе с тем собственники входят в постоянное противоречие с Властью. В своем роде, считал Трибониан, история Первого Рима есть история борьбы императоров с собственниками. Здесь крылась интереснейшая проблема.

Слова Каппадокийца прервали размышления квестора. Иоанн говорил низким голосом, подходившим к его тяжелой фигуре:

– Августейший! Великодушно щадить виновных – таково свойство человеческой природы. Но не щадить невинных – вот истинное богоподобие. Необычайность наказания есть средство: подвластные удерживаются страхом. Не все ли равно, на кого падают удары? Важно, чтобы все боялись. Город? Да он полон дряни. Пусть же она выплескивается наружу.

Прислушиваясь, Трибониан одобрительно кивал. Так-так, наказание есть устрашение, поэтому полезны даже ошибки. Закон есть идеальное целое, подобно Троице святой, в сущности своей нераздельной. Но применение закона есть воплощение духа в грубость плоти, необходимость заменяет закон временными мерами. Базилевс руками верных людей осуществляет благодетельный произвол; произвол же – это божественная прерогатива единовластия. Базилевс стоит выше закона, его непогрешимое решение всегда законно. Ибо его действие или исправляет закон, или вводит новый. Следовательно, базилевс никогда не бывает нарушителем закона – вот и доказательство его непогрешимости! А право на беспощадность к невинным? Трибониан помнил урок Книги Бытия: разгневанный бог потопил все необычайно размножившееся человечество, кроме Ноя с семьей. Опытнейший легист Трибониан понимал, что среди мириадом утонувших большинство было ни в чем не повинно, ибо преступление нагло, а добродетель скромна. Священное писание дает много и других примеров истребления невинных по воле бога. Да! Каппадокиец прав! Именно беспощадность к невинным есть признак божественности, что подтверждается непререкаемыми свидетельствами Церкви.

5

Византийские купцы вели торг по кавказскому побережью, доплывая до Питиунта, маленького полуострова под высоким хребтом, знаменитого особыми соснами, которые от сотворения мира росли только там и считались неприкосновенными. Другие корабли поворачивали после Босфора влево. На одном из них подданный империи Малх занял место гребца.

Щиколотку ноги Малха держало кольцо, обмотанное рыжей от ржавчины холстиной, чтобы железо не грызло кожу: к чему хозяину терзать полезное животное? Гребцов, и вольных и прикованных, кормили досыта. Вода, как всегда в плаваниях, была теплой, затхлой, но другой не было ни для кого.

«Я жив, – утешал себя гребец. – Меня могли сжечь. И – не сожгли! – Раскачиваясь в ритме общей работы, Малх помогал себе словами собственной команды: – Согнись, разогнись, тяни, нажми, вниз, вперед...» Он старательно учился новой работе, чтобы избавиться от необходимости думать о ней. Вскоре гребец начал утешаться рассуждениями: владыки, искренне уверенные в справедливости вознесшего их божественного произвола, все же страдают от подозрений, что все хотят покуситься на их жизнь и на их власть.

Лет тридцать пять тому назад восприемники младенца, нареченного Малхом, у святой купели отреклись за него от Дьявола, после чего новорожденный стал подданным христианской империи. В развалившихся Афинах дом родителей Малха казался еще пригодным только потому, что его окружали совершенные уже руины. Мальчик привык думать, что таков мир вообще. Потом он узнал, что прежде людей было много, но они разучились рождаться. И на самом деле, он не видел семей, где было бы больше двух живых детей. Чаще – один.

Город содержал нескольких философов, примирявших христианство с мудростью Аристотеля и Платона. Содержал город и учителей грамоты, скромные обязанности одного из которых исполнял отец Малха. Плата за труд была небольшая. Академия давала ему всего тридцать фунтов зерна в месяц. Отец рассказывал, что и в былой Элладе не хватало своего хлеба. Ныне в Афинах жила едва десятая часть прежнего населения, а хлеб был такой же редкостью: такова Судьба. Муку смешивали с масличным жмыхом, лепешки жевали медленно, чтобы не сломать зубы о косточки.

Отец, мать и сын мотыжили соседний пустырь, выращивали овощи. Три десятка корявых маслин давали масло. Семья жила в крайней бедности, что Малху объясняло лишь чтение, – сам он был счастлив, не испытав другой жизни. Море разнообразило скудный стол. Плоды его – рыбы, крабы и раковины – были обильны и почти все съедобны.

Малх очень рано научился вертеть жернов и читать. Лет десяти он уже был способен списать какую-нибудь надпись на камне, наполовину утонувшем в красной земле Эллады. Отец объяснял смысл, если сам понимал.

В Академии хранились книги Гомера и Геродота, Эсхила, Софокла, Еврипида и многих других. Пользование ими было разрешено отцу Малха. Кое-что находилось и дома: целые списки, обветшавшие отрывки без начала и конца, чьи-то мысли, как надписи на камнях и памятниках.

Позже, когда кончилась юность и Малх был далеко от родительских могил, он постиг душевные муки отца, терзаемого желанием просветить сына и страхом за судьбу просвещенного. Духовенство злобилось на Академию, называя ее наследием язычества, прибежищем ложной мудрости. На имевших к ней отношение доносили как на тайных еретиков, скрыто совершавших обряды осужденной богом религии эллинов.

Философы оправдывались: если в глухих местах империи еще мог соблюдаться языческий ритуал, то никто из просвещенных эллинов не считал возможным возврат к прошлому.

Впоследствии Малх признал не правоту, но верность чутья невежественного духовенства. Действительно, остатки мыслящих людей противопоставляли основы древней демократии имперскому произволу. Наедине – из страха перед шпионами и еще более опасными добровольными наушниками – отец осторожно внушал сыну мысли о злом преобращении христианства, сделавшегося имперской религией. Истина мнилась старику в соединении христианства с былой демократией. Но кто мог исправить их, удалив из обоих насилие? Невозможность задачи понимали сами философы, шептавшиеся на развалинах Эллады, исполняя в призрачной яви своей жизни все обряды правящей церкви.

Отец боялся жизни. Зная, что привязанности суть самое слабое место самого сильного сердца, он в заботе о Малхе не обременял его нежностью к родителям: сыновний долг, не больше. Люди не стоят любви. К тому же близких могут у тебя отнять, как землю, одежду, деньги. Только мысль твоя принадлежит тебе навсегда. Учись!

Книги показали Малху былую Элладу, населенную героями, писателями, мыслителями, художниками. Почему же ему не довелось родиться тогда?! Трезвый ум отца лишил сына иллюзий:

– Ты подобен человеку, который глядит лежа, – его взор упирается в стену колосьев. Встань, и ты увидишь пустыню с редкими ростками от горстки семян, развеянных бурей.

Нарисовав подобие карты, где расстояния обозначали столетия, отец разместил имена, и Малх увидел, что все наследие мысли и гения было сотворено немногими, изредка рождавшимися в маленьких, враждующих друг с другом городках-республиках. Мученичеством была жизнь каждого творца, и никто не получил возмещения.

– Ныне же, – говорил отец, – их наследство – как эта старая урна на старом столбе. Мы любим ее, она украшает наше жилище, но она, говорят, бесполезна. Что нынешние ромеи восприняли от Эллады? Искусство торговли, созданное не философами, а искателями наживы.

– К чему же мне учиться? – спрашивал Малх.

– Чтоб знать, – отвечал отец, – ибо лишь мыслью человек отличен от животных.

Время для печальных откровений было избрано правильно. Мысль сына пробудилась, а на этом пути нет места для поворота назад.

За пять поколений до рождения Малха готы обрушились на Элладу, преданную империей. Из каждых десяти эллинов не стало девяти: одних убили, других увели, и они исчезли в чуждой стихии, как вода на раскаленном камне. Перед вестготами и после них Элладу грабили вандалы-пираты. Еще раньше – римляне, до римлян – македонцы, персы...

– Эллинов нет более, – повторял старый учитель грамоты. – Пустота Эллады заполняется пришлыми варварами. Солнце жжет нашу землю, чтобы прах героев не превращался в грязь. Мы, эллины, живем в нашем мраморе, в наших постройках, в книгах, в нашем языке, который богаче других, которым пользуется империя, нас презирующая. Спешите учиться, сын. Мы последние, мы дышим под лавиной, и каждый день приближается обвал.

Лавина рухнула. По приказу базилевса Юстиниана византийский легион заменил местное ополчение, которое – призрак старой Эллады – несло охрану Фермопильского прохода. Одновременно последние города Эллады, еще сохранявшие остатки самоуправления, получили назначенных Византией префектов. Не стало афинского самоуправления, не стало и денег на содержание Академии. Ее закрыли за ненужность, а префект ввел новые налоги.

Отец Малха не только лишился хлебной выдачи, но отдал за подати все овощи и все масло. Остался жмых. Старики слегли от особенной болезни, заключавшейся в отвращении к жизни. Сухость сердца помешала сыну заметить, что отец и мать по примеру древних стойков уморили себя голодом.

Малх стал одинок, но отнюдь не свободен. Наследник, теперь он был обязан платить налоги за лоскут тощей земли и за рощицу дряхлых маслин, за дом, пусть развалину, за окна без ставен, за двери, от которых остались лишь дыры проемов, за очаг, за хворост, собирал его Малх или нет, за домашнюю птицу и животных, которых не было, за содержание легиона, якобы охранявшего Фермопилы, за дороги в провинции и за улицы Афин, хотя никто не заботился о мостовых, за соль, за зрелища – пусть цирк был закрыт... Нельзя отказать и храмовым сборщикам, ибо леность в делах благочестия свидетельствовала об уклонении от истинной Церкви, что было государственным преступлением, как и неуплата любого налога.

Сеть, удушившая родителей, опускалась на сына. Малху посчастливилось. Бродячие мимы приняли его в свое общество за умение читать, и он бежал, бросив на волю Судьбы дом, землю, деревья, ибо за обременительное недвижимое имущество никто не захотел дать ему и трех оболлов.

Два осла тащили повозки с жалкой утварью: грубые маски, подражавшие образцам с барельефов, лохмотья для ролей и рваные книги, к которым Малх присоединил свое наследство. Десяток мужчин развлекали зрителей представлениями, где грубые шутки, заменявшие юмор, чередовались с диалогами из трагедий и фокусами жонглеров.

Странствующие комедианты смело топтались по всей империи. Добытое делилось поровну, кроме монет. Деньги копились на поборы, от которых не следовало уклоняться. Империя не стесняла передвижения только дряхлых стариков и явных, ни к чему не пригодных калек.

Дорожные заставы хватали не имевших проходных листов. Каждый бродяга мог оказаться беглым рабом, колоном, бросившим земельный участок, преступником, подданным, скрывшимся от налогов. Бродяг заключали в тюрьмы и расправлялись быстро; если заключенного не разыскивали как беглого, он продавался в рабство как желавший ускользнуть от исполнения обязанностей перед империей.

Сильный, ловкий, Малх сделался отличным жонглером. Он хорошо исполнял и роли. Напялив маску, он вызывал приятный трепет у зрителей, любящих быть испуганными в меру своего удовольствия.

Вожак мимов знал настоящие и выдуманнные имена всех мимов, начиная от Канна. Иные своей знаменитостью затмевали римских императоров: одним движением тела и рук они умели лепить из воздуха сразу несколько фигур и перевоплощаться, как древние боги. Из опасения быть обвиненным в колдовстве, вождя решался показывать образчики умершего искусства лишь перед своими. Он начинал метаться, как укушенный тарантулом. Внезапно нелепые будто бы движения обретали ритм. Видения двоились, троились, к двум голосам диалога примешивался третий.

Потом мим честно разоблачал секреты своего мастерства, но повторить не удавалось никому.

– Со мной все умрет, я последний, – с горечью говорил вождя.

Малх верил преданию о некоем афинском миме, который бежал в Азию перед приездом Нерона из страха перед ревностью императора-лицедея. В сирийском городке беглец захотел показать «Антигону» Софокла, все роли в которой он исполнял сам. Когда на арене маленького цирка начались превращения одного во многих, зрители, ранее не видавшие великого искусства, убежали в ужасе. Весь следующий день мим ходил по городу, убеждая жителей не бояться. Наконец жители собрались на вторичное представление. Увидев «Антигону», они оставили все дела. Каждый пытался воспроизвести зрелище, все забыли о пище. Появилась странная болезнь, унесшая население в могилу, а мим погиб от убийц, посланных завистливым императором.

Нищая, но беспечальная жизнь Малха оборвалась, как гнилая веревка. В Александрии Нильской сотоварищи Малха соблазнились безопасной, казалось, возможностью проникнуть в кладовую торговца драгоценностями. Всех схватили, Малх ускользнул случайно.

Сделавшись действительно бродягой, бывший мим мог оказаться легкой добычей первого, кто имеет право спросить: где ты живешь, чем живешь и уплатил ли подати? Опаснейшее положение. К тому же ни медного оболы. Как жить, как выжить? Малх решил стать легионером.

Эллинов считали нежелательными для службы в войсках, но Александрия, обязанная сдать солдат по набору империи, не интересовалась прошлым добровольцев. Малх скрыл свое происхождение. Жонглер тот же гимнаст – из Малха легче сделали солдата, чем из пахаря.

Шла война с персами, какая-то по счету, ибо с персами воевали всегда, во всяком случае с лет Вавилонского столпотворения, когда бог смешал языки людей. Может быть, один Малх во всей армии мог сколько-нибудь связно рассказать о столетиях вражды, которая, вопреки общему мнению окружавших его, была вызвана сначала налетами эллинов на Азию, а затем стойко поддерживалась хищным давлением на Восток Римской империи, неустанно искавшей жертву для очередного грабежа. Теперь полководец Велизарий вел три легиона и несколько тысяч конницы из дружественных империй сарацинов и других наемников-варваров. Обе стороны избегали решительных сражений. Зимние дожди, захватившие армии вблизи развалин Вавилона, лишили противников подвижности. После нескольких стычек было заключено перемирие. Для Малха последовали два года коротких переходов и длительных стоянок, перемежавшихся не слишком кровопролитными столкновениями. Малху не пришлось участвовать во взятии городов, но он собрал небольшую добычу с трупов персов и своих.

Жизнь легионера прискучила Малху. Он заболел: не разгибалась поясница, он волочил ногу, страдая от постоянной боли. Бывший мим легко изобразил распространенную солдатскую болезнь. Выслужившиеся солдаты получали право на некоторое обеспечение по старости. Тяжелая пята Юстиниана наступила и на эту привилегию. Впрочем, краткость службы не дала

бы Малху права на пенсию. Но он получил свидетельство, ограждавшее его от бдительности дорожных застав.

Малху влекла Александрия – горло Нила и голова Египта. Попав туда вторично, он встретился с людьми, владевшими наукой чарования взглядом. Но поиски смысла бытия казались Малху интереснее магии.

Данное в детстве дано навсегда. Мысль у Малху не отнимут, как и умение довольствоваться малым. Малх существовал на три оболы в день, солдатской добычи должно было хватить надолго. И опять, как говорил Малх новым друзьям, он, подобно воробью, запертому в доме, ударяется об одни и те же стены. Эллин – он не мог не видеть в Риме, раздавившем Элладу, только дурное. В этом крылось, Малх сам это понимал, мешающее истине лицепрятие, хотя он понимал и неизбежность крушения Эллады, растерзанной взаимной враждой городов-республик и кознями демагогов.

Читая писателя Девскиппа-афинянина⁶, Малх соглашался с ним: все новое в Афинах исходило от потребностей граждан, они были республикой, властью. Собравшись вместе на одной площади, они умели, бросая в урны створки раковин, изгнать изменника, избрать умных законодателей, честных казнохранителей, верных послов, талантливых стратегов.

Но где, спрашивал себя Малх, сойдутся сто мириадом населения прибосфорского Рима? Найдись такая площадь – кто же будет избранником сброда? На один день демагоги овладеют толпой, а завтра и они, и республика-эфемера исчезнут в хаосе личных страстей. Три мириада афинян знали друг друга по-соседски, поэтому трезво ценили способности и характеры. Так все и объяснилось.

А рабы? Для Малху раб был человеком. Хотя бы лишь потому, что сам он, как неимущий, был отделен от рабов малозаметной чертой. Рабов в прославленной Девскиппом Афинской республике было больше, чем граждан. Разве необходимость угнетения их, разве опасность рабов не вызвала сплоченность граждан? Ты о чем-то умолчал, Девскипп!

Познав невозможность республик, Малх разумом допустил единовластие базилевсов как неизбежность. Но – злую. Опасное состояние ума, усмехался Малх, ибо базилевсы требуют не только подчинения, но и любви подданных.

Христианские базилевсы поручили Церкви, лучшего и не желавшей, истреблять высокомерие мысли. От бронзово-звонких гексаметров Гомера до слов, непонятных невежде, все было ересью для духовенства. Но ведь уже в республиканском Риме ремесло литератора становилось небезопасным. С лет первого императора Августа начинаются преследования. Тиберий, второй император, сам не чуждый писательству, хорошо понимал неблагонадежность писателей и охотно уничтожал их. Последний император-язычник, Диоклетиан, тщась создать семью императоров-богов, приказывал повсюду хватать писателей и казнить их, как рассуждающих о государственных делах.

Не лучше получалось у Малху и с религией. Он соглашался с правилами христианской морали, но споры о сущности Христа казались ему бесцельными. «Учение о троичности божества изложено еще в египетских мифах», – думал Малх. Что касается тайны необходимого сосуществования доброго и злого, света и тьмы, божественного утверждения и дьявольского отрицания, то здесь, по мнению Малху, ничто не разрешено. К уже бывшим противоречиям последователи Христа добавили еще одно, свое: добрые правила и бесчеловечность действий.

Бывший мим, отставной легионер и самочинный философ беспечально существовал в шумной Александрии, сытый размышлениями и беседой, как Диоген.

⁶ *Девскипп-афинянин* – древний писатель; сохранились обрывки произведений. В них с большой силой и убедительностью превозносится государственный строй Афинской республики. Девскипп сыграл роль в позднейшей идеализации рабовладельческих республик Древней Греции.

Вор должен уметь молчать. Заговорщик нуждается в сотоварищах. Для мыслителя же немота просто невозможна. На Малха донесли. По своему невежеству шпион не мог сколько-нибудь связно передать слова Малха, но выследил, что непонятные речи произносит человек, отказавшийся от мяса и семьи. На три оболы в день Малх невольно жил аскетом, как того требует учение Мани. Манихейство же – тягчайшая схизма!

Еретика отправили в Византию, где были собраны многие манихейцы, ожидавшие следствия и казни. Манихейские ересиархи отвергли предложенное им покаяние. В те дни, как и в другие, находилось много людей, не боявшихся мученичества. Малх познакомился с церковной тюрьмой Второго Рима, носившей название *in pace*, что обозначает: пребывание в мире, в тишине, в покое. Заключенного на веревке опускают в темную узкую горловину каменного мешка, на глубину нескольких ростов человека.

Патриарх Мена считал богоугодным делом истребление еретиков, но тяжким грехом судей ошибку в приговоре. Малх, защищаясь, отрицал обвинение, исповедался, принял причастие, и Мена «смирненно указал»:

– В этом христианине находим мы не ложь дьявольской ереси, но лишь смятенность мысли от неполного знания церковных канонов. Города, кипящие соблазном, опасны его душе. Да подвергнут его покаянию в гордости мысли и да отправят в дальнее место.

От зари утренней и до зари вечерней верующие, входя и выходя из храма, плевали на прикованного к столбу грешника, дабы помочь его смирению. Затем Малх превратился в гребца. Купец, которому поручили изгнанника, не был обязан обращаться с ним, как с кипой ценного груза, и приковал к скамье. И все-таки с купцами, как убедился Малх, было легче иметь дело, чем с властью.

Через весловое отверстие в борту был чаще виден берег, чем открытое море: корабли, из страха заблудиться в пустыне Понта, боялись надолго терять сушу из виду. Когда попутный ветер надувал паруса, гребцы спали. Случались и дни тяжелой борьбы с ветром. Сначала Малх считал дни, потом все поглотило однообразие. Приказ положить весла по борту был понят Малхом как очередная остановка, чтобы лодки могли еще раз отправиться к устью одной из рек за водой и дровами. Неожиданно ему велели поднять ногу. Ловкий удар расклепал кольцо!

Свободен! Стоялая вода в порту была теплой, будто подогретой. Малх нырнул. Отросшие волосы слиплись от соли.

Карикинтия стала для Малха местом жительства. Как и другие города ромеев на северном берегу Евксинского Понта, она казалась кораблем, окаменевшим на суше. Стена и ров ограждали город с трех сторон, концы крепостного пояса погружались в море. Бури разметывали камни – люди восстанавливали разрушенное. Ворота порта замыкались цепями. Дома, высокие из-за тесноты, были сложены из ноздреватого камня, поэтому даже новые строения казались древними.

Как-то один из александрийских собеседников Малха выразил удивление особым свойством жителей Византии. Это свойство он назвал презрением к смерти. «Может быть, к жизни», – думал Малх. Иной раз ему хотелось выть, не от голода и горя, не от страха или отчаяния, а так просто. Изредка Малх доставлял себе это удовольствие, забившись где-нибудь за стеной в овраг, пахнувший жарким бесплодием засухи, полынью и морем.

Уйти было некуда, степь обещала голодную смерть или плен у варваров, может быть, еще худший, чем плен империи. Изгнанник имел время для размышлений – преимущество нищеты и одиночества, ценимое далеко не всеми философами и лишь редкими проповедниками отречения от земных благ.

Прежде Малх видел правителей империи с удаления, спасительного для подданных и для величия власти. Карикинтийская теснота снабдила его новыми противоречиями. Префект, судья-квезитор и логофет-казначей были людьми лично ничтожными и невежественными,

власть же их – неограниченной. Единственной целью правителей Карикинтии было выбивание денег из подданных; надежным средством служили солдаты, тюрьма, пытка, казнь.

Сами карикинтийские сановники, однажды заплатив за должности, обязаны были напоминать о себе ежегодными подарками-донациями имперской казне, покровителям и самому базилевсу.

Церковь тоже требовала дани от благочестия верующих. Забывчивым напоминали лишь один раз.

Малху не хватало пальцев для перечня новых противоречий. Его тянуло писать историю. На чем, для кого!..

Не пропуская богослужения, он старался почаще попадать на глаза Деметрию, строгому пресвитеру Карикинтии.

Путешествия сделали Малха полиглотом, теперь он походя научился говорить по-славянски или по-скифски; карикинтийцы безразлично прибегали и к тому и к другому названию речи днепровских варваров, многие слова которых удивляли Малха своим родством с эллинскими.

Прошло уже сорок поколений с тех пор, когда бродячие мореплаватели-милетцы первыми зацепились за северное побережье Евксинского Понта. Они скоро узнали, что по Борисфену-Днепру легко добраться до областей старинного земледелия, где обладатели хорошо возделанных полей охотно продают зерно, кожу, воск, меха. Эллада привыкла к пшенице, полбе, ржи, гороху, которые прибывали самым дешевым путем – по воде. Прекращение понтийского подвоза заставляло гордых афинян поститься, пока купцы не доставляли зерно из других земель.

В Карикинтии все были заняты; случалось, что вложенный в дело капитал утраивался за один год: торговля с варварами сулила быстрое обогащение, что объясняло цепкую силу приморских городов.

Малх подкармливался работой у сереброкузнеца и – грамотные были редки – иногда помогал купцу Репартию вести торговые записи. Трудный счет буквами-цифрами сам по себе иссушал мозг, купцам же приходилось утаивать прибыли, иначе лихва, взимаемая градоправителями сверх податей, могла унести любой барыш. Купцы притворялись бедняками. Но что за события порой случались на севере? Почему иногда исчезал днепровский хлеб? Малх убедился, что купцы удивительно мало знали о Днепре и прилегающих к нему землях.

На второй год Репартий взял с собой Малха на днепровский торг.

Глава четвертая Торжок-остров

Лгали купцы, в меру того, сколько нужно бывало для дела. Лгали святители больше, чем лгали купцы. Ибо святость больше торговли верит себе и искусному слову.

Из древних авторов

1

Рось совсем остановила течение под слободой – знак, что пора плыть на Торжок-остров. Товары для торга исподволь накопили на берегу. Цеженный мед шел в липовых долбленках и в сбитых из липового же теса бадьях. Мед густ, а хуже воды, через всякое дерево протекает, только мягкая липа держит его. Мытая, переплавленная вощина сбита в круги толщиной с жернов. Шкурки пушных зверей собирались тючками по четыре десятка: темно-бурые бобры, серые белки-веверицы, белые горностаи, темно-рыжие норки, огненные куницы и лисы, водяные выдры-рыбалки. Выделанные кожи туров, волов, коров, коз и баранов скатывались как бревна, крупные – по десятку, мелкие – по двадцать кож. Дорогой товар – зерно – насыпан в шитые из овечьих кож мешки. В каждом шесть пудов да еще с торговым походом, чтоб не потерять честь. Копченое мясо домашнего скота, туров, вепрей заготовили, сняв с костей, выдержав под гнетом.

Десять русских родов нагрузили сорок семь челнов. Каждый род слал на торг свои челны. У кого оказалось побольше товара, тот и челнов побольше отправил.

На челне восемь гребцов, девятый с рулевым веслом да двое-трое старших. Всеслав дал для охраны три десятка молодых слобожан, больше для чести, для того больше, чтобы молодые повидали иных людей.

По Рось-реке плыть в полую воду все равно что по озеру. Отчалив утром, челны еще до полудня достигли начала большого колена. Здесь Рось течет против Днепра, он – на юг, она – на север.

По правому берегу – пойма. Летом взору открывается низкий берег, изрытый старыми руслами и озерами. Всколмления заросли деревьями, любящими воду, – серым тополем, осокорем, ивой. Пойма почти непроходима, здесь охотничьи уголья каничей. Восточные соседи россичей берут неисчислимую дань пуха с дикой птицы, из старых русел черпают набившуюся в полую воду глупую рыбу. Разве ее возьмешь всю? К осени в сотнях озер и озерков не видать воды; не ряска – дохлая рыба превращает водоемы в кашу. Издали такое озеро кажется белым, будто там снег. Ветер доносит смрад, отвратительный для человека, заманчивый для многих диких зверей. Они идут лакомиться тухлятинкой. Каничи пользуются звериной шкуркой.

Редко кто из россичей видел эту пойму. Летом им нечего делать в устье. Теперь же поймы нет, есть неоглядный простор без берегов. Кое-где торчат камышинки – верхушки затопленных деревьев, вдали видны, как головы в мохнатых шапках, вершины лесистых холмов, превращенные в острова. Молодые смотрят не оторвутся: вот оно, море, какое! Такого сияния, блеска, игры не бывает на Руси.

Плыть бы да плыть все прямо к невидимому берегу, который, наверное, как в сказке про заморские страны.

Дай волю молодым, они и пустились бы в плавание. Но старшие знают, что пойменный разлив подобен жизни. Тут сверху и ровно и гладко. Снизу же коряги, затонувшие деревья.

В мутной воде не видать – заедешь в затопленный лес, на мель попадешь. Намокнет товар и совсем пропадет. Челны шли верной дорогой, вдоль высокого левого берега, коренным руслом.

Россичей догоняли илвичи. Эти были побогаче своих соседей не одним числом родов и душ. Малая числом воинов илвичская слобода оставляла в хозяйстве руки. Гнали илвичи сто сорок четыре челна, полных двенадцать дюжин. Больше шести челнов с товаром приходилось у них на род, у россичей же не было и пяти. Даже илвичская слобода послала на торг два челна. Доверенный преемника Мужилы вез товар, накопленный промысловатыми слобожанами.

Из устья Россавы, будто сговорившись с соседями о встрече, выплывали каничи. Они не беднее илвичей: на шесть родов – тридцать девять челнов.

Челны у всех людей русского языка одинаковые: однодеревки. Из осокоревого бревна или из дуба делают долбленку шагов тридцать длиной, борта расшивают тесом внахлестку, крепя доску кленовыми гвоздями. Челны не широки, в середине до трех с небольшим локтей, двухногие – при такой длине не везде развернешься.

Вместе с каничскими собралось двести тридцать челнов. Не будь разлива, тесновато делалось бы на реке. Если зацепить все челны один за другой, получится вязка длиной в четыре с половиной версты: русская верста – пятьсот сажен. В сажени косой – мера от пальцев левой ноги наискось до пальцев поднятой вверх правой руки.

Плыли, переключаясь. Молодые забыли про море, вглядывались в новые лица братьев по языку. А вдали, на востоке, в сверкающей мощи разлитого без краев Днепра, уже виделся остров. Был он низок, версты на четыре длиной. В правом краю острова, за течением, поднимаются высокие стрелки мачт над высокобортными кораблями. Ромеи уже здесь.

Гребцы налегают на весла, русские челны пускаются наперегонки с илвичскими, каничскими. А восточного берега Днепра нет и нет, за островом без межи стелются воды, и опять молодые думают о море.

Великий Днепр замедлил течение. Он заперт теснинами, которые начинаются ниже Самарь-реки. Теснины прорезаны хребтистыми скалами. Весной Днепр топит скалы, вольно течет, захватив берег верст на пять. Ниже теснин он опять разливается в море, к востоку ровное, к западу же, где берег высок, Днепр занимает только низины и превращает степь в чудную страну островов.

В это время года на Днепре опасны бури. Хорош его простор для разбега ветров! Чуть засвежеет – спеши к берегу, прячься, если успеешь, и жди с терпением, коль жизнь тебе дорога. Но другой опасности нет.

Веснами мир владеет днепровскими водами. Половодье отогнало степняков, сиднем сидит отощавший за зиму хищный хазар. Снизу от Евксинского Понта – Теплового моря безбоязненно поднимаются ромеи. Сверху, пользуясь гладкой дорогой каждого ручья, ставшего речкой, из своих лесов сплывают люди славянского языка. Плывут на торга славяне припятские, верхнеднепровские, сожские северяне, деснинские, сеймовские...

Торгов несколько. Первый большой весенний торг живет на острове, против Рось-реки. Песчаный Торжок-остров крут, его подмывает вода. Низ острова – ухвостье тянется в узкую стрелку. Старые помнят, что ранее остров был будто чуть дальше. Рось свой песок бросает к острову и тянет его к себе. В засушливое лето дно между островом и Росью можно достать длинным шестом. С той стороны Днепр роет пучину, там – русло, здесь – затонно. Торгуют ромеи и ниже, одним-двумя кораблями они заходят в Сулу, в Супой. Там торг малый, барыш же большой. Славяне, живущие по тем рекам, бедны хлебом, но за товары дают купцам много воску, меду, мехов, кож. Это дорогие для ромеев угоды. Без ведома хозяев продают купцы один другому право плавать туда. Все поплывут – цены собьют.

Второй большой весенний торг становится верстах в полуторасти выше русского устья, под гористым берегом Днепра, верст на пятнадцать ниже слияния Десны с Днепром. Под горой Днепр приглуб, причалы к берегу удобны.

Мутная вода плескала дымчатую пену на песчаную пологость берега. Изгибами бежали низенькие ступеньки, меченные ломаной хворостинкой, мертвой травинкой, куском древесной коры, слепившейся метелкой камыша, в которой ранний дрозд искал себе пищу.

Илвичи, россичи и каничи гнали челны к западному берегу острова. На мели гребцы прыгали в воду, затаскивали челн подальше на песок. Людей много, нужно – и на руках поднимают.

Племена приставали стаями, как птицы. Каждый ставил свои челны тесно и прямо, чтобы занять меньше места. Так легче досмотреть за порядком, быстрее покажешь товар.

Все ездившие на Торжок-остров имели здесь свой причал. Из года в год челны размещались по неизменному порядку:

у самой головы острова ставились россавичи, живущие по правому берегу Россавы, от истока до среднего течения;

ниже их – славичи, обитающие между верховьем Роси и Ростовицей;

потом – ростовичи с левого берега Ростовицы-реки;

за ними – бердичи с верховьев Ростовицы;

далее – илвичи и россичи;

последними с Поросья причаливают каничи.

Всех их семь племен, именующих себя по-разному. Для других же славян они, обитающие по Рось-реке и ее притокам, – россичи, или руссичи, какой выговор иным легче дается. Остальные приднепровские славяне, пахари лесных полян, плавают на верхний торг, под гору. Так им удобнее, ближе. Ирпичи и хвастичи спускаются по Ирпень-реке, здвижичи – по Здвиже, сквиричи, лазоричи, ромодане, жуляне, житомичи, бердичи – по Тетерев-реке и Иршени, ужичи с жеричами – Уж-рекою. Горынь-река, Случь и сама Припять приносят глевтичей, казатичей, жмеричей, беличей, чаповичей, олевичей. Вятичи спускаются на верхний торг по Остру, Сейму, Десне и Снову. Лишь малая часть вятичей, живущих на Супой-реке, приходит на Торжок-остров.

Ромеи тоже из года в год приходят одни на Торжок-остров, другие – на верхний торг.

Езда на торг для россичей, как для всех славян, любя развлечением, которое краше сладкого куска. Уже вбиты в песок перед челнами рогатые колья. Горят дрова, привезенные с собой, – на острове растет только хилый ивняк. Забрав мутной речной водицы, бросили в котлы запасенную свежинку – и, забыв голод, пустились тешить глаза.

Ромейские корабли стояли за островом у стрелки на причальных канатах. Самый большой корабль ромеев будет немногим длиннее славянского челна, но куда шире. А по высоте борта кажется домом в сравнении с землянкой. А еще лучше сказать: славянский челн как волк по сравнению с ромейским быком-кораблем.

Будто нарочно, чтобы показать себя на плаву, к острову тянули еще четыре корабля. Ветер дул не в корму, а в бок, косой парус надувало слева, но корабли правили прямо к острову. Ратибор понял: парус тянет в одну сторону, руль упирается в другую, а корабль между ними движется прямо!.. Умно плавают ромеи... На переднем корабле вдруг уронили с мачты парус. Из-за кормы выскочила лодочка с двумя гребцами, за ней тянется канат, тонет, хлещет по воде. Ромеи выгребли на мель, выскочили в воду и стараются перевернуть посудинку. Для чего ж? А, там якорь. Тоже правильно делают, его над лодкой неудобно поднять.

Еще несколько усилий – и лодка перевернута. На корабле подтянули канат, корабль потащило, но нет, якорь захватил под водой. Кое-где на мели высывались якоря других кораблей. Один как трезубая острога, но зубцы отогнуты в разные стороны, другой похож на жернов. Этот, видно, берет своим весом – свинцовый.

Ромеи тем временем поставили челночок, веслом выплеснули воду. Один ромей совсем голый, как мать родила, другой в коротких, издали видно, грязных штанах. Кожа смуглая,

головы черные, на плечах и груди черный же волос. Ратибор жадно вглядывался в первых увиденных ромеев. Те уже забрались в челнок и быстро приближаются к кораблю.

Носы у корабля высокие, выгнутые. У одного торчит железный кол. Наедет – боднет, как тур, проткнет, как кабан. Синим, желтым и красным расписаны выпуклые борта. Корма ниже носа, но тоже высока. К середине борта понижаются, однако же до воды остается добрый рост человека. С такой высокой палубы грести не будешь, в бортах понаделаны дыры для весел.

Вон стоит воин в блестящих, как золото, медных доспехах. На голове шлем с гребнем от лба до затылка.

Вон ромей, белокурый, как сам Ратибор, в белой чистой одежде, пола закинута на левое плечо, правая рука и грудь голые. Ромей сделал ладонями щиток, кричит. Ишь, по-русски желает здоровья.

Что ж, Ратибор и другие из молодых здесь впервые, ромей же по Днепру поднимаются каждую весну. Вот и знают славянскую речь, как каждый островок, каждый поворот великой реки. У них, ромеев, таких рек нет.

День был хотя и весенний, но жаркий. На высоком месте острова, где сыпучий песок связан корнями ивняка, купцы раскидали шатры из черного и серого войлока. Для прохлады края шатров были приподняты, виднелись лари с товаром, высокие узкие корчаги, которые ромей называют амфорами, постели из ременных сеток на легких рамках. На сетках войлочные подстилки и мешочки, набитые пухом. Их ромей любят класть себе под ухо, когда спят.

У шатров в песок врыты высокие, сажени четыре, шести. Не деревянные, а из особенного тростника. Он такой же коленчатый, как русский, но твердый, подобно кости, и в нижних коленах толщиной с руку. На шестах большие куски разрисованных тканей. Ветер тербил полотнища, сразу не рассмотришь. Вглядываясь, Ратибор узнал орла, разглядел старца с большой бородой и с сиянием вокруг головы, женщину в красных одеждах с младенцем. Были просто кресты: белые на красной ткани, синие – на желтой.

С десятком слобожан Ратибор провожал старших в гости к ромеям. Хозяева ждали перед шатрами. Не успели русские поклониться, как ромей согнулись еще ниже. Улыбаются, рады. Знакомые! Чамота называет несколько ромеев по именам, они ему отвечают. Новички с любопытством наблюдают незнакомый им обряд. Один ромей вышел вперед, протянул гостям руки и сказал по-русски:

– Торг между нами да будет мирен, незлобив и чист от неправды.

– Такой торг пусть и будет, – ответил Чамота и руками коснулся открытых ладоней купца.

– Мы в том обещаемся богом святым, вседержителем, Христом спасителем мира, – продолжал ромей.

Говорил он по-русски, но не все слова Ратибор понял сразу. Что за вседержитель, какой это бог и кто мир спасал, зачем спасал, от кого?

– Все мы обещаемся, – вразброд повторили остальные купцы, выговаривая одни чисто, другие искажая русскую речь.

И каждый сделал странный жест: соединив щепотью три пальца правой руки, подогнув безымянный и мизинец, ромей касались сначала лба, потом живота, правого плеча и кончали на левом. Зачем это было?

– И мы вам обещаемся Сварогом, Перуном, нашим оружием, – сказал Чамота.

– Кто клятву нарушит, того да покарает бог, а мы накажем по закону, – строго сказал ромей.

– Если кто из наших подерется да обидит ваших, мы его подвергнем расправе по-своему, – подтвердил Чамота.

Слуги ромеев иль рабы – Ратибор не знал – бегом тащили из шатров легкие сиденья, плетенные из тростника. Ромей пригласили гостей сесть, потом уселись сами. Ратибор заметил,

что почет относится лишь к старшим, для него и других провожатых сиденья не нашлось. Ему и не хотелось сидеть. Двое принесли высокую корчагу. Налив большую чашу до верха, один из ромеев поднес вино гостям, зачем-то сам пригубив первым. Был этот ромей ростом низок. Он ли один такой? Ратибору ромеи казались мелковаты телом против россичей. Руки у ромея были смуглы и волосаты, как лапы земляного паука, что роет круглые ямки и ядовито кусается. Звали этого ромея Репартий.

Тысячи ног истолкли песок – сапоги и постолы-калиги тонут в сыпучей почве. Размяты сочные ростки лопушника и мать-и-мачехи, обрадовавшиеся теплу не ко времени. Обтёрхан, изломан покорный ивняк, пахнет дымом от костров, на которых кипит, доспеваает варево. Тут и свежее мясо, и вяленое из старых запасов, и дикая птица, и рыба, которую добывают и по нужде, и от безделья. Торжище началось в хождениях ромеев, в разговорах со старшими. Молодым делать будто бы и нечего. Вот и занимаются охотой, неводами. Лишнее дарят ромеям как гостям. Торжок-остров – земля русская.

Варево заманчиво припахивает луком; лук для вкуса и цвета кладут целым, в пере. Добавляют побеги молодой лебеды; репы, капусты, моркови и брюквы уже нет. Нет муки для подболтки и круп для каши. В градах осталось немного зерна для малых детей, весь хлеб привезли на Торжок для продажи.

На русских полянах нет соли. У ромеев мало хлеба. Десятками поколений ромеи плавают по Днепру за хлебом. Первый торг с ромеями идет за хлеб. Первый торг русские ведут за соль.

Соль дорога. Сами ромеи, как они рассказывают каждому, кому охота послушать, ездят за солью неблизкой дорогой. Из днепровской узости горла они плывут морем на юг. Плывут вдоль берега, потом между берегом и длинным островом Тендрой, поворачивают на восток. Вода в море соленая, но не очень. Плывут, плывут и забираются в тупой конец. Там море мелкое, плыть опасно. Если корабль приткнется на мель, волны побьют его в щепу. В тупом конце моря – горько-соленые озера. В них вода так густа от соли, что человека держит высоко и утонуть нельзя. А еще больше соли там лежит на дне, берега же черные, топкие. Нужно черпаком грести соль, брать в корзину и нести на корабль. Работа трудная, по плечу самым сильным.

То еще не беда. За солью приходится ездить с войском, у озер подстерегают хазары, гунны, дикие готы. Одни ромеи отбиваются, другие спешат грузить соль.

Ромеи всегда хвалились, что их соль полита их же кровью. Иные купцы показывали рубцы на теле от мечей и стрел. Ратибору и другим молодым все интересно, все в новинку. С ромеями говорить легко, они любят слова и почти все умеют объясняться с россичами. «Дело простое; и деды их, и пращурсы торговали со славянами», – думают россичи.

Ромеи клянутся богом-вседержителем, и Иисусом Христом, и Девой Марией, и русским Сварогом, что говорят правду и никак не могут уступить соль дешевле, чем мешок за десять мешков пшеницы или за пятнадцать – овса, за семь – гороха, за двенадцать – ячменя.

Больше всего ромеи гонятся за хлебом, стараются узнать, сколько у какого рода есть хлеба. Покончив с хлебом, берут пушнину, кожи, воск, мед, вяленое и копченое мясо, сухую рыбу. За бобра платят пять горстей соли, за куницу – три, за выдру – две, за десять белок – одну.

Привозят ромеи и железо в крицах, видом похожих на низкие хлебцы. Железо от ржавчины густо мазано салом. У россичей довольно и своего железа. Не отказываются они и от ромейского, покупая по сходной цене.

2

Для молодых длилась праздность. Ратибор хотел бы побывать на ромейском корабле, но купцы к себе не приглашали и старшин, а навязываться в гости – не в честь. Сами купцы уже не толкались в толпе, толпа же была немалая. Десятки сотен людей съехались со всей Рось-реки

с притоками и с того берега Днепра. Самые дальние из всех, россавичи и славичи, первыми покончили торг. Набрав соли, взяли они серебра, желтой и красной меди, из которых свои умельцы наделают браслетов, серег, перстней, застежек; взяли красиво окрашенных тонких женских полотен; купили стеклянных и каменных бус, тонких ромейских ножей, железных и костяных игл, пуговиц, мягеньких сапог, штанов, рубах, которые ромеи по-своему называют туниками либо хитонами.

Славянские товары тяжелые и громоздкие – всего на кораблях купцам не увезти. Россавичи и славичи продали ромеям часть челнов. У них своя выгода. Верховья быстро мелеют, уже и теперь до дальних родов плава нет, придется от воды тащить купленное выюками и волокушами. Деревьев много, к будущему году новые челны легко изготовить.

Уплыли верхние, свободнее сделалось на Торжке-острове.

К котлам россичей ходил ромей не такой, как другие. Был он бос, одет в длинный неподрубленный хитон черного полотна и без цветной каймы. Подпоясан не красным шнурком или ремнем, как купцы, а веревкой. Его звали Деметрий. У Деметрия было одно украшение, и носил-то он его не как люди, а под одеждой на груди. Но не скрывал. Беседуя, Деметрий порой вынимал тяжелый серебряный крест с выпуклым распятым человеком и целовал его в подтверждение истины своих слов. Говорил же он по-росски понятно.

В то утро, собрав бездельных россичей, Деметрий им что-то рассказывал. Ратибор подошел, лег на песок, слушал. Ромей говорил почти нараспев, внятным голосом:

– ...Отпустив народ, он взошел на гору помолиться и ночью остался один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волной, ветер был сильный. В четвертую ночную стражу пошел к ним Иисус, ступая по волнам. И ученики его, увидя его из лодки, говорили: «Это призрак» – и от страха закричали.

«Трус кричит от страха», – подумал Ратибор. Но рассказ Деметрия захватил его. Что будет дальше?

– Иисус сказал: «Ободритесь, это я», – продолжал Деметрий. – Петр сказал ему: «Боже, если это ты, повели мне идти к тебе по воде». Бог сказал: «Иди». И, выйдя из челна, Петр пошел по воде навстречу Иисусу. Но испугался, и вода перестала его держать, расступилась, он провалился и начал тонуть. Иисус тотчас поддержал его и сказал: «Малoverный, зачем ты усомнился?!» И тогда они оба вошли в челн...

Не ожидая продолжения, Ратибор поднялся. Днепр тек свободно, широко. Старый крутой берег был одет в зелень цветущего леса. До сих пор Ратибор думал, что человек в воде может только плавать, отталкиваясь руками и ногами. Бегают водяные пауки, озерные курочки на широких лапках. Значит, могут ходить и люди?! Ратибор просто не знал этого.

Он ступил на отлогий бережок, на твердый и гладкий от влаги песок. Сейчас и вода показалась ему плотной, единой, будто земля. По ней можно ходить!

Ратибор вспомнил сны – он летал, сделав усилие, забываемое утром. Летать труднее, чем ходить по воде. Он почувствовал себя и легким и сильным. Прямо к тому берегу, над водой. По силе, по ловкости он никому не уступит. Он не слабее того Иисуса. Просто, так просто – стремись вверх и прямо к тому берегу!

Незаметно для себя поднимаясь на носки, Ратибор ступил шаг, второй. Лишь погрузившись до половины голени, он опомнился. За его попыткой следило, как он увидел, много глаз. Вероятно, и у других мысли были такие же. Удайся ему – сразу нашлись бы подражатели!

Ратибор скрыл гнев, затаил разочарование, как бывало при неудачной стреле, при безуспешном состязании на мечях или саблях. Он встретился глазами с Деметрием. Ромей глядел странно; будь Ратибор старше, будь он спокойнее, он прочел бы на лице Деметрия разочарование. Ромей ждал чуда, молился за Ратибора. Какие обращения в истинную веру обещала удача варвара!..

Справившись с собой, ромей продолжал проповедь. Ратибор не слушал больше. На мокрые сапоги налип песок... Но ведь он, Ратибор, не трус, как тот ромей Петр. Вода! Он никогда ее не боялся, он мог плавать от рассвета до заката, не отдыхая. Быть может, он не сумел на реке, ведь ромей говорил о море? Разочарование угнетало. Ратибор не решался спросить ромея о причине неудачи.

Подумать, что ромей лжет, Ратибор не мог. Он знал шутки, басни, загадки. Знал хитрость боя, обман врага, обман соперников в состязании. Это были не слова, а дела, увертка тела, внезапность нападения, бросок не оттуда, откуда тебя ждут. Ратибор умел обмануть зверя силком и засадой, умел подкрасться к пасущимся козам или сернам, надев на голову кожу козла с рогами. Все было хитрым умением, не ложью.

В тених листьев, трепещущих на ветру, россич мог разглядеть движение, быть может, чьей-то души, не нашедшей пристанища. Он мог встретиться с оборотнем, слышал какие-то голоса, называющие его имя. Ему приходилось заметить на кратчайший миг мохнатого полевича, духа степи, взметнувшегося над травой. В ржанье коня, в реве тура различались хоть и непонятные, но слова.

Иногда Ратибор замечал под водой мгновенный изгиб белого тела русалки-водяницы, испуганной нырляшиком. В темных пущах леса он не раз успевал уловить быстрый блеск зеленого глаза и корявую спину прячущегося лешего – тонкость чувств и быстрота ощущений давали вещественность прыжкам воображения.

Не было чудесного в мире, было то, что каждодневно, и то, что встречается редко. Все, включая небесную твердь, обиталище душ россичей, существовало для россича ощутимо и просто, как весло в руке, как тетива на пальцах. Но места для лжи, места для выдумки небывалого не было.

Голос Деметрия назойливо лез в ухо. Этот человек был сейчас неприятен, уйти же Ратибор не хотел. Ромей рассказывал:

– Услышав о болезни своего друга Лазаря, через два дня Иисус сказал своим ученикам: «Лазарь, наш друг, уснул, но я иду разбудить его». Иисус говорил о смерти, но они думали, что он говорит об обыкновенном сне. Тогда Иисус сказал прямо: «Лазарь умер. И радуюсь, что меня там не было, дабы вы уверовали. Теперь же пойдем к нему». И они, придя, нашли, что Лазарь уже четыре дня в гробу...

«Они не сжигают тела, а лишают душу неба, зарывая тело под землю, – с отвращением подумал Ратибор. – Плохо умереть в такой стране».

– И многие утешали двух его сестер, – тек голос Деметрия. – Иисус пришел к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус сказал: «Отнимите камень». И сестра Лазаря просила не открывать, ибо прошло уже четыре дня и могила смердела...

Ратибор содрогнулся: гадко тревожить могилы и рыться в падали тел, не получивших чистого погребения. Зачем этот ромей рассказывает об осквернении могил! Но что он скажет еще?

– И Иисус возразил сестре Лазаря Марфе: «Ты будешь веровать, узрев славу бога». Отняли камень от пещеры. Иисус, обратившись ввысь, сказал: «Отец, благодарю тебя, что ты услышал меня». И воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И умерший вышел, как был, обвитый пеленами, лицо его было обвязано платком. Иисус сказал: «Развяжите его, он жив», – закончил Деметрий.

Впервые Ратибор понял, что человек может лгать. Росские ведуны умели иногда победить болезнь. Всеслав победил смерть. Но никто не мог воскресить мертвого. И зачем? Разве так плохо ему на небесной тверди?

Ратибор не заметил, как к Деметрию, шагая через тесно лежавших и сидевших россичей, подошел Чамота и сел на корточки перед ромеем. Ратибор услышал голос Чамоты. Князь-старшина спросил ромея:

– Я давно вижу: ты, добрый человек, учишь. Ты знаешь, видно, много. Ты мне скажи: там, думаешь, что у нас? – И Чамота указал вверх.

– Там пребывает единый господь бог-вседержитель, которого я исповедую, там воинство его, там рай, в раю же души праведников, – ответил Деметрий.

– А эта земля чья? – опять спросил Чамота, делая круг рукой.

– Земля ваша, – был ответ.

– Так и твердь над нашей землей – наша же, – сказал Чамота очевидную для него истину. – В нашей тверди твоему богу делать нечего. У вас, у ромеев, есть своя твердь над головой. У нас – наша. Мы в вашу часть не входим.

Священный жар охватил Деметрия.

– Я, недостойный пресвитер истинной церкви, говорю тебе, – строго начал он, – бог есть любовь, бог есть добро несущий миру. Он создатель всего сущего и отец людей, сотворивший их по своему образу и подобию. Он отец, дух и сын святой, Троица единосущная, предвечно существовавшая, не имеющая начала, ни конца. Единственно наша вера истинная, она нам дана самим сыном божьим в евангелиях от святых апостолов. Принявший истинную веру спасен в сей жизни, а в иной пребудет в раю у бога. Отвергнувший истинную веру пойдет в ад.

Привлеченные Чамотой, россичи подходили: одни останавливались за кругом, другие протискивались ближе, расталкивая передних. Деметрий видел, что пришло его время. Но сатана силен, он заслоняет ухо грешника, а слово истины скучно для грубых умов. Мысленно Деметрий просил помощи у бога.

– Скажи, что это за рай? – спросил Чамота.

– Рай – место на небесной тверди, где верующие находятся в вечном блаженстве, без забот и тягот, без сожалений, без огорчений... – Деметрий старался проще и заманчивее дать картину рая. – В раю они воспевают хвалы богу, пребывая в покое, без соблазнов, без труда.

– Скажи про ад! У нас и слова нет такого.

– То злое место под землей, царство сатаны в вечном мраке. Там дьяволы без отдыха мучают души грешников, не знавших истинной веры, пекут их в неугасающем огне, варят в смоле, терзают крючьями... – Желая поразить воображение простодушных славян, Деметрий перечислял страшные и отвратительные пытки, принятые в Риме и в Византии.

– Ты сказал, – начал Чамота, дождавшись конца длинного перечня мучений, – коль я приму твою веру, твой бог меня возьмет в рай?

– Да. Крестись, и ты спасен.

– А те? – Чамота указал на небо.

– Кто? – не понял Деметрий.

– Навьи. Отцы и деды наши, – пояснил князь-старшина. – Они на нашей тверди.

– Ты ошибаешься, – возразил Деметрий, – они не на небе с праведниками, они там, – он указал на землю, – они горят в аду. Будут вечно гореть. – Читая тревогу на лицах, Деметрий с силой убеждал: – Спешите же обратиться к богу истины, спешите все. Никто не ведает своего часа, спешите! Сам бог говорит с вами через мое посредство, иначе ад, огонь, огонь!

– Что ж! – Чамота встал, потянулся. – Не нравится мне твой рай. Сиди да сиди сложа руки... За день один тоска червем сердце высосет! Да еще похвальбы твоему богу кричать, славить его. Это дело не мужское. У нас как? У нас молодой, несмышленный, встретив старого князя, ему даст поклон и – будет. Нет, и человек тот плох, и бог тот негоден, если любит себе хвалы слушать и похвальбами тешиться хочет, как несытый кабан себе набивает брюхо желудями без меры. Тьфу! Такой бог для рабов пригоден. Мы ж люди вольные. Да и от навьих наших мне не пристало отрываться. Так у нас не ведется – товарища бросить, дружину покинуть. Эх, ты!.. – Чамота вторично плюнул и продолжал: – Ты вот немолод. Ты ж подумай, учишь чему! Нет! Сам ты сказал, слышали все, что наши-то навьи в аду сидят. – Чамота не скрывал

насмешку. – И я – туда же. Мне без своих скучно будет. Огня твоего не боюсь. Погребального костра не миновать ни одному россичу. И – ладно так для нас будет.

Покончив дело, Чамота ушел. Разбрелись, не помедлив, и остальные. Оставшись один, Деметрий с раскаянием ударил себя в грудь раз, другой. Ромей нарочно ранил тело острыми гранями креста. Он шептал:

– Моя вина, о боже, моя великая вина, забыл я святое писание, что и ложь бывает во спасение, что надо быть кротким, как овца, мудрым, как змея.

Под туникой из глубоких ссадин сочилась кровь. Нет места для уединения, иначе Деметрий наказал бы себя бичом, тройной хвост которого сразу пересекает кожу. Да простит ему бог неумышленный грех соблазна язычников.

«Воистину я забыл, – исповедовался сам себе Деметрий, – что надобно остерегаться обнаженной истины. Да, поспешное откровение есть дьяволово искушение, ибо сатана обладает искусством обращать добро во зло. Не мечите бисера перед свиньями, учите, но не соблазняйте. Ведомый через пустыни не должен заранее знать, долги ли дни мучений для достижения оазиса. Воистину, боже, твоей волей Моисей сорок лет водил избранный народ в пустыне, а ведь прямой путь в Ханаан даже люди с грузом проходят за тридцать дней. Кто пошел бы за Моисеем, поведай он людям истину о твоей воле, обрешавшей евреев сорокалетнему скитанию!..»

А Ратибор объяснял и себе и товарищам:

– Видно, твердь ромейская очень плоха, не такая, как наша. Вот и мечтают они подольше на земле пожить. Вот и просят себе от богов своих воскрешенья: смерти они очень боятся. С испуга они, как малые, небылицы рассказывают себе и другим. Ни по воде ходить, ни мертвых воскрешать никому не под силу. Да и нечего...

Вода спадала, сделался виден восточный берег Днепра, разливы в устьях Роси и Супоя перестали казаться безбрежными морями. Новые и новые ступеньки набивали на Торжке-острове отступающие волны. Здесь оставались ближние – каничи с илвичами, россичи да супойские вятчи. Им торопиться нечего, по самой низкой воде они доплывут домой.

Снялась и половина ромейских кораблей. Они отходили, ловя попутный ветер. На купленные славянские челны ромей сажали по двое-трое людей не столько грести, сколько править груженым челном. Каждый корабль влек за собой по нескольку челнов, как будто нанизанных на канат. Длинные вязки! За поворотом высокого берега исчезало крыло паруса, а челны все тащились.

Никто из оставшихся славян не думал тянуть к себе купцов, предлагать свое, перебивать соседей. Ромей, устав, лениво спорили с Чамотой и другими старшими. Те цепко держались, зная, что не будет прибыли купцам, коль они повезут свои товары обратно. Младшим дела по-прежнему не находилось.

Ратибор праздно остановился у купеческого шатра. Охраны здесь не было. Издавна повелось – на торгу никто не возьмет полюбившуюся вещь без мены, без воли хозяина.

– Эй, чего ищешь твое сердце, воин?

Высокий ромей в длинной тунике, подпоясанной красным ремнем, прикоснулся к плечу Ратибора. Длинная голая рука ромея была золотисто-смуглой, курчавые темно-русые волосы лежали крупными завитками, темные глаза смеялись. Выпуклые мускулы веревками обвивали широкие кости – он был странно худ, этот человек, сухая кожа бритых щек прилипла к скулам, к острому подбородку.

– Пойдем, ты будешь мой гость, – звал ромей.

Указывая на вход в шатер, он протянул руку, как кинул нечто живущее отдельно от тела. Скользя, будто пlying, ромей отбросил дверь, войлок остался откинутым, словно прилип к стенке.

– Войди, войди!

В шатре ромей, цепко и ловко нажав на плечи Ратибора, посадил его на кровать. После дневного света здесь казалось темновато. Ратибор ощутил чужие, незнакомые запахи, Ромей, присев на корточки, вытаскивал деревянную пробку из горлышка глиняной корчаги. Высокая посуда подпрыгнула и взлетела на колени ромея – он уже сидел рядом с Ратибором!.. Тощий, как зимний волк, ромей силен, как волк же!

Ратибор не углядел, как ромей прикоснулся к чаше. А! И корчага снова на полу! Ромей подбросил пустую чашу и предложил гостю:

– Пей! Вино! Хорошо! Пить!

Его серые губы стали ярки, как вишня. Пальцы, быть может и толстые, были так длинные, что казались тонкими, ногти выпуклые, темные, твердые. Грудь и руки безволосы, как у мальчика. Глубокая чаша вдруг запорхала, как птица, над руками ромея, не пуста – полна до краев. Не потеряв капли, ромей плеснул себе в рот струю, и чаша как будто сама попросилась в руки Ратибора.

Голос ромея звучал мягко:

– Пей, хорошо. Кровь земли, она тоже красная. Здесь все: и гроздь, и зерно, и кожа, и сок винограда. Воин любит кровь.

Вино было и терпкое, напоминая вкус ягод терна, кисловатое и сладкое сразу, и чуть горькое. Станный напиток. «Наверное, – думал Ратибор, – это запах Теплого моря, на берегах которого растет виноград». Он слышал об удивительном растении. Говорили, оно похоже на плющ, хмель.

Опорожнив чашу, Ратибор с поклоном вернул ее хозяину.

– Ты, варвар, скиф ты, славянин или дитя многих народов, не знаю, – ты вежлив. – Ромей смешивал свои слова и русские.

Ратибор улыбнулся в ответ на улыбку нового друга.

Ромей улыбался, но глаза его были серьезны. Зрачки в карей оболочке расширились и опять сузились. Ратибор почувствовал легкое головокружение. Опора шатра, темный войлок в морщинах, как кожа, сам ромей, упершийся, не моргая, в глаза россича, – все, все отошло, все исчезло, кроме черной глубины настойчивых глаз. Ратибор не уступал. Невольно ввязавшись в странную борьбу молчания и взгляда, он, противясь чему-то, отталкивал неизвестное.

Оба не знали, как долго мерились они силой души и воли. Ратибор опять услышал дальние и ближние звуки голосов, увидел не одни глаза, но все строгое, еще больше осунувшееся лицо ромея. Тот засмеялся, трижды хлопнул в ладони, сплел руки за затылком, потянулся, хрустнув суставами.

– Ты – сильный мужчина, молодой сын леса и степи, – сказал ромей, – искусство магов Персии и Египта не может тебя победить! Я – твой друг. Скажи мне, чего ты хочешь.

Кровавое вино ромея было слабее русского меда, ставленного на хлебной закваске, выбродившего в тепле, выдержанного в холоде ямы. Мед веселил, вино навевало грусть. От меда живчики играли в теле, от вина тяжелели ноги. Чего попросить у ромея? Ратибор не знал.

Россич не заметил, откуда в руке ромея явилась темная фигурка – голый мужчина держал в правой руке короткий, широкий книзу меч, в левой – круглый щит.

– Вот кто тебе нужен! Бог войны – Арей-Марс. Он сын Зевса, отец Ромула. Гляди, гляди, ты похож на него.

Ромейский бог войны? Какой же это бог?! У него была курчавая голова, чуть скошенный назад лоб, прямой нос, продолжавший линию лба. Руки, ноги, грудь – все мягко, округло. Нет, Перун – настоящий бог воинов. Его руки могучи, похожи на корни, его кожа не боится царапин, как кора дуба. Лицо Перуна грозно, глаза – зорки. Этот бог слеп, меч и щит у него как для детей. Ратибор не успел отказаться, как в шатер вошел черноризец Деметрий.

– Что ты делаешь здесь, Малх, с этим варваром? – строго спросил пресвитер. Искусство жонглера изменило Малху, или оно годилось только для чужих. Он не успел спрятать изображение Арея-Марса.

Деметрий взял бронзу, брезгливо бросил.

– Я, недостойный, пытаюсь наставить язычников слову божию, ты, еретик, смущаешь их души сатанинскими образами, – гневно говорил Деметрий. – Что мне делать с тобой! Ты каялся в своем нечестии, отбыл епитимью, был прощен от нас, слабых служителей добра. Но вижу, ты не забыл проклятого ремесла мима, обманщика людей. В Византии ты сидел в темницах, справедливо уличенный в грехе; в Египте ты едва не впал в сатанинскую ересь манихеев. Кафолические базилиевсы запретили изображения дьяволов. Зачем ты смущаешь варвара, отвечай!

Ромеи говорили на своем языке – Ратибор не понимал их. Он видел, как Малх кланялся, часто-часто прикладывая три пальца ко лбу, животу, плечам. В голосе Малха звучал страх, он умолял. Вот он на коленях, целует руку Деметрия. Лицо строгого человека, подпоясанного веревкой, будто бы смягчилось. Он положил руку на опущенную голову Малха. «Черный ромей – хозяин Малха?» – спросил себя Ратибор, жалея нового знакомого. Для Ратибора Деметрий был обманщиком, глупцом, который рассказывает несбыточное и сам тому верит.

Малх поднял фигурку, опять бросил ее, плюнул. Да, он раб. Ни один россич так не унижится и перед князьями.

Ромеи, не обращая внимания на россича, пошли вон. На берегу Малх размахнулся, божок булькнул в Днепре. Согнув плечи, Малх поплелся за Деметрием. Ратибор глядел на воду. Здесь, к устью Роси, не так глубоко. Соображая течение, он метнул щепку. Потом разделся и пошел в воду.

В весенней речной мути глаза плохо видели, течение сносило. Пришлось заплывать и нырять четыре раза. В свете солнца мягкие формы ромейского бога войны показались Ратибору совсем непригодными для выражения мужской доблести. Этот Арей – женщина по сравнению с Перуном. Ратибор уронил бронзу на песок так же пренебрежительно, как Деметрий. И тут же подобрал. Ромеи сами утопили свое достояние. Русские кузнецы сумеют выковать из меди что-либо доброе.

3

Сверху сплывали челны. Помогая себе течением, они разумно держались правого берега, чтобы не потерять речной стрежень в левобережных разливах. Шли не русские челны и не ромейские корабли. У этих челнов носы были высокие, острые, задранные круто, тупая корма с палубой. Хорошо осмоленное дерево блестело на солнце. Приблизившись к Торжку-острову, вновь прибывшие развернулись против течения, около устья Роси, и взяли к берегу. Гребцы, видно привычные к плаванию, ладно и споро били веслами. На мелководье головной челн бросил в воду рогатый брус на канате, плетеном из ремней. В точности подражая первому, все остальные вытянулись вдоль берега.

Кое-где над высокими бортами торчали кожаные мешки. Виднелись лица бородатые и безбородые, с усами и без усов. Гребцы, поднимая весла, укладывали их вдоль бортов. Многие были почти голы – только в коротких штанах. На потном теле, красном от весеннего загара, туго сидели браслеты и ожерелья: желтые и светлые, гладкие, витые, чешуйчатые, кованые из колец.

Жилистые руки подтягивали к бортам легкие челноки, которые ташились на причалках за челнами.

На острове все, кто не спал, сбежались для зрелища.

– Дальние, дальние люди, – говорил Чамота. – Не пруссы ли? Гляди, вон у того ожерелье желтого янтаря. Они и есть. На их Холодном море зимой дня почти не бывает, а летом сплошь день стоит. Ишь как их нашим солнышком напекло. Блестят, что медь чищенная.

Челноки приставали к берегу. Прибывшие выскакивали на песок, поднимая вверх руки с открытыми ладонями в знак мира и дружбы.

– Будто и ильменцы есть, – продолжал приглядываться Чамота.

Россичи знали, что далеко-далеко, если плыть по рекам и тащиться волоками на полуночь, есть край земли. Там Звезда-Матка стоит в небе куда выше, чем на Рось-реке. Там пусто, темно, лед, снег. Туда прячется на лето Морёна-зима и ждет своего срока, пока пролетные птицы, уходя на юг к Теплым морям, не запрут небо для тепла. Около этого края, на берегу Холодного моря, живут люди славянского языка, по названию пруссы. А поближе их, за днепровскими верховьями, есть озеро-море Ильмень. Около него тоже живут славяне.

Высадившись, пруссы и ильменцы разминали ноги, утомленные долгим сидением. Несколько человек, поздоровавшись с Чамотой, пошли вместе с ним к ромейским шатрам, другие сбились в кучки, как, не думая, делают все при первой встрече с незнакомыми.

Чужое манит к себе. Россичи без стеснения напирали на пруссов, спрашивали. Пришлые не стеснялись. Один из них, немного постарше Ратибора, упористо расставил ноги, цепляясь за песок горбатыми пальцами босых ступней. Прищурившись, он закинул Ратибору шуточное присловье:

– За посмотренье платят, друг! Чего мне дашь за рассказ?

Его звали Голубом, не прусс, а ильменский житель. Не дожидаясь ответа, Голуб продолжал:

– Далекий Ильмень-батюшка. Отсюда, скажем, плыть туда до Днепру, пока тот не измельчает до ручья. Потом челны тащат плоской гривой, там путь пробит через леса, называется – Волок. От него водой идут к Ильмень-озеру Мойскому. Там, на речках Порусья и Полнеть, наш город Русса, а заложил его брат Славена, сам именем Русс. Град большой, мужчин в нем наберется больше, чем на твоём острове, друг Ратибор. А женщинам и девкам у нас счета нет. Одно в пути плохо, уж трудно, как трудно тащить челны переволокой через Волок. Там сильные люди нужны, слабым там – смерть, брюхо лопнет. А ты челны посуху таскал?

Играя, Голуб взял Ратибора за руку, сжал пальцы будто по дружбе. Дружба дружбой, но жесткая пятерня Голуба давила клещами. Тут не сплеховать бы: не осилишь – или прощенья проси, или пальцы сломают. Незаметно для других оба пустили в дело всю силу. Голуб улыбался, а Ратибору виделось, как крепкие желтые зубы ильменского славянина недобро скалились в русой бороде. Чужой хотел зло посмеяться над молодым россичем. Не вышло... Чувствуя, как ослабела хватка, Ратибор выпустил руку Голуба. Что его обижать, гость ведь. Тряхнув рукой, Голуб поправил длинные волосы – сбился ремешок, который их держал. И засмеялся:

– А хорошо у вас кормят, силы хватит у тебя волочить челн через Волок-то!

У котлов закричали, зашумели очередные повара:

– Гей, гей, упрело варево-то, мясо от костей отошло!

Разобрав прибывших, как пришлось, россичи повели их к котлам. Котлы большие, емкие, не беда, что сверху черны в саже, ты в чашку смотри, там хорошо ли? Навар по виду жирен и крепок. Мяса положено без счета и веса: ешь не хочу.

Прусы причалили к Торжку-острову не для случайного отдыха. Прошлым летом, собравшись в числе около двух сотен, они поднялись от своего Холодного моря. Прусы называли его Волчьим. Плыли они по реке Болотистой, она же Нево, до озера Нево. Оттуда, против течения реки Мутной-Волхова, добрались до большого града ильменских славян, своих родичей. В граде Руссе, на берегу пресного моря-озера Ильмень, пруссы торговали хорошим

железом и чудесным янтарем-алатырем. Железо пруссы брали и набегами и торговлей в Скандии – горной стране, на северном берегу Волчьего моря. Янтарь же собственный. Волчье море выбрасывает его на пологие берега пруссов.

Об этом рассказывал ромеям глава дальних славян, избранный вожаком на время дороги. При упоминании о янтаре ромеи шевельнулись. Камень-электрон высоко, как золото, ценился на Средиземном море и во всей Азии. Прусс вытащил из сумки почти прозрачный кусок, обточенный в форме яйца, и поднес подарок старшине ромейских купцов. Электрон пошел по рукам, все любовались редкостью. Внутри сидел, едва ли не живой, крупный шершень.

Пока ромеи мысленно оценивали драгоценный электрон, прусс решил не поминать о вымененных в Руссе черных соболях, которых называли головкой всех мехов. Дорогу же скрывать не приходилось. Из Руссы путники плыли через Ильмень, поднимались против течения Ловать-реки. Не то они запоздали, не то легла ранняя зима, но днепровские верховьяхватило льдом. Вот почему пруссы вышли на Днепр не летом, а весной.

Зимовали пруссы в граде кривичей. Жили без обиды хозяевам. Могли бы побить мужчин, взять себе женщин и имущество. Но это дело дурное.

Прусс помянул о мирном житье средь кривичей без всякого умысла. Купцы сочли его слова похвальбой. Живущих на волоках не обижают, чтобы не расплатиться на обратном пути.

С первой водой пруссы столкнули челны. На Большом Торгу, под высоким берегом Днепра, тесно, и ждать там нечего. Пруссы плывут в Византию. Не возьмут ли их ромеи попутчиками?

Изо дня в день, из лета в лето, из поколения в поколение карикинтийцы со страхом глядели в небо варваров и на дикие причуды Евксинского Понта. На родине люди из года в год копят приметы – у ромеев давно-давно не было родины. Подданные империи были потомками людей, слишком часто перемещаемых прихотями владык и случайностью войн. Уже пращурьих – миды, ассирийцы, эламиты, аравитяне, иудеи, италийцы, македоняне, эллины и сколько других – являли смешение языков. Ромеи же были сплавом, созданием империи, усиленной за последние десять поколений воздействием христианства: базилевсы-императоры и церковь равно не считались с племенем.

Мир – в руке бога. Только бурям известно, сколько воды накопили славянские леса, где никто не бывал от сотворения мира. Бог знает, когда откроются днепровские пороги, пути же бога неисповедимы для смертных. Пруссов не так много, чтобы разбить караван, а в беде они смогут помочь.

Но если в имперском городе пруссы станут бесчинствовать, ответит и тот, кто показал разбойникам путь. Зачем пруссы хотят плыть в Византию? Еще при Константине протоколарики записали законы о встрече посланников и всех чужих, которые прибывают в империю. В границы Византии – Второго Рима бьет волна хищных варваров. Поэтому законы приказывают: люди, приставленные к чужим, должны остерегаться сказать им то, о чем чужие спрашивают. Ничего не говорить, ничего не открывать! Посланникам можно показывать лишь три вещи: множество подданных империи, благоустройство сильных войск и крепость городских стен.

Открывавший тайны империи чужеземцу карался по закону мучительной казнью, о которой не хотелось и поминать.

Однако те же законы разрешали быть менее осторожными со слабыми соседями империи или с людьми, прибывающими из отдаленных земель. Пруссы – жители северного края земли. Это ободряло купцов. Карикинтийские власти допросят пруссов. А сейчас купцы надумали составить запись прусских речей, чтобы префект мог уличить пришельцев во лжи, если те переменяют слова.

- Мы хотим продать византийцам товары, – объяснил вожак.
- Продай здесь, продай нам и вернись к себе.
- У вас есть хорошее золото? – спросил прусс.

– Но почему ты хочешь плыть так далеко? – уклонился ромей от ответа. – Далекий путь дорог...

В Средиземном море эллины когда-то уступали торговое первенство только финикийцам. Потом Архипелаг попятился перед италийским Римом. Однако в восточном углу Средиземного моря эллины удержали торговлю в своих руках. А здесь, на Днестре, с эллинами никто не соперничал. С начала жизни эллинских городов на северных берегах Евксинского Понта прошла тысяча лет. Все изменилось, нет эллинов.

Еще живет их речь, богатая, великолепная для выражения и для сокрытия любой мысли. Но и она уже изменяется, и все заметнее и заметнее расходятся слово написанное и слово сказанное. А искусства? Из них сохранилось одно ныне – единственно нужное – великое искусство торговли. Оно непростое.

Торговля изоощряет ум в уловках, учит язык скрывать мысли, сушит сердце каждодневностью лжи. Лжет равно и богач, и мелкий торговец вразнос. Лжет взгляд, рука, движения тела. Лжет послушный голос, лжет походка, и даже лжет ухо, которое умеет вслушиваться, ловит скрытый смысл и там, где его нет. Ромеи могли бы бесконечно долго играть словами с пруссами. Но в цели пруссов не было ничего тайного. Решение, которое они приняли на берегу Волчьего моря, не подвергалось сомнению даже в скучные месяцы зимовки в черных избах гостеприимных кривичей.

– Клянусь мечом и копьем, – сказал прусс. – Наше сердце открыто, наши желания просты. Продав товар, мы поступим на службу базилевса. Если верно, что он дает воинам хорошую плату.

Малх слушал, отмечая нужное стилосом на вошеной дощечке. Он понимал, что варвары были всегда обмануты и обобраны карикинтийскими купцами. Но деньги возвращались к варварам, если не к тем, кого обобрали купцы, то к другим.

Базилевсы постоянно откупались от своих воинственных соседей, делая им подарки, чтобы удержать от вторжения. Империя платила союзникам-федератам, укрепляя непрочные союзы. Империя выкупала потерянные во время войн земли, поддерживала мир ежегодными взносами. Товары, золото, серебро ходили по кругу. Содействовать этому вращению, сами того не подозревая, собирались далекие киммерийцы-пруссы. Много варваров за высокую плату служили империи. Базилевс Юстиниан любит содержать воинов-чужеземцев. Репартий восхвалял щедрость базилевса:

– Кроме жалованья, за каждый день в году базилевс дает своим наемникам-солдатам все и возобновляет утраченное. За потерянного коня дает коня, за стрелу – стрелу, за меч – меч. Даже за сломанное стремя, за порванную уздечку, за изношенный сапог базилевс платит не торгуясь. Поэтому солдаты базилевса не боятся потерь. За храбрость в битве полководцы награждают серебряными и золотыми ожерельями, браслетами, перстнями. Тут же, на поле – солдат еще не успеет вытереть пот. В чужой стране солдаты берут все, что захотят. Взятый город отдается солдатам на день, два, даже на три дня.

«Это можно не записывать, – с иронией думал Малх, скромно согнувшись над восковой дощечкой. – И того, что скажет Репартий дальше».

– Но, – говорил Репартий, – базилевс берет на службу тех, за кого поручатся надежные люди. Поручительство стоит денег. Мы найдем вам поручителей...

Свежий ветер безнадежно пытался заровнять истоптанный песок, рябь на Днестре превратилась в низкие гряды белых барашков. Пролетная туча пролила поспешные струи.

Сохраняя безразлично-внимательное лицо, Малх позволял своим мыслям витать по их воле.

Пресвитер Деметрий внимательнее Малха вслушивался в беседу купцов с пруссом. Греховны дела базилевса, думающего о мирском, пользующегося мечами варваров! Все ложь, все соблазн сатаны, суета сует и всяческая суета. Империя должна стремиться не к союзам с язычниками, а к евангельской проповеди. Огнем надо подавить ереси в самой империи и поднять священный лабарум Константина для просвещения и спасения варваров. Принявший святое крещение спасется, закоснелый – погибнет. В походе за Христа бог, ангелы и святые усилят воинство базилевса невидимым оружием, и Второй Рим воцарится навечно, не как Первый, источенный грехами языческий Рим.

Подняв глаза, Малх не мог сразу отвести их от сурового профиля Деметрия. Страх овладел Малхом, он с дрожью вспомнил событие с россичем Ратибором. Малх боялся себе признаться, что неуспех проповеди пресвитера обещал ему самому мало хорошего. Простил ли его Деметрий? Если Деметрий пожалуется префекту на Малха, соблазнявшего варваров, что с ним сделают? И еще – Малх по-детски жалел погибшую фигуру Арея, обломок великого искусства древней Эллады.

4

Шумно и весело братались хозяева-россичи с гостями-пруссам и ильменцами. Вольные охотники из россичей отправились пошарить в затонах и побродить по берегу за свежим мясом. Вернулись в груженных доверху челнах. Туши серн, вепрей, диких коров были завалены сотнями и сотнями битой птицы – гусей, лебедей, уток, водяных озерных курочек. Не челны плыли – чудища пернатые. Сами охотники, облепленные пухом, походили на птиц.

Близ острова вольные рыболовы, развлекаясь широкоючеистым неводом, за канаты тянули по отмели улов. Отбирали для себя полусаженных стерлядей, осетров в человеческий рост, лешей не менее пяти четвертей от хвостового пера до жабер, сазанов, толстых, как поросята. Мелочь отпускали на волю: не нужна, пусть доспевает. На Роси от голода еще никто не умирал.

Гости насиделись на копченой и вяленой сухомятине. Торопясь, они в пути не пополняли запас, накопленный зимней охотой, и сейчас, как волки, пьянели от свежего мяса. Птицу щипали-гоили кое-как, горстью, пух летел по всему острову. Сочна, вкусна дикая птица с прилета, пока еще не истратилась на весеннюю любовь. Рыба же, печенная на раскаленных камнях, приправленная густым медом, лучше всякой иной сладости.

В товариществе с Ратибором держались ильменец Голуб и трое пруссов, из которых молодого россича привлекал ровесник по имени Индульф.

Индульф понравился Ратибору смелым лицом, вольным взором, ловкой силой, которая сама просилась наружу при каждом движении. По росскому обычаю полагается заботиться о госте в меру, без назойливости. Одно – обычай, иное, когда дружба идет от души.

– Благодарю тебя за ласку, – говорил Индульф.

– Пришел бы ты к нам в слободу, там бы я тебя угостил, – отвечал Ратибор. – Но скажи, ты нашего языка, хоть и говоришь не совсем по-нашему, так почему же у тебя имя не наше?

– Было у меня имя другое, – ответил Индульф. – Мать и отец меня нарекли Лютиком, по цветку, потом меня назвали Лютобором – за силу. Потом... Жизнь посылает нам неожиданное... Мы ходили на челнах в Скандию, страну озер. В бою я схватился со скандийцем, мы оказались равной силы, равного умения. Другие скандийцы отступили, он остался один. Мы дали ему уйти. Прусссы не любят нападать множеством на одного человека. Через день я отстал от своих. Скандийцы окружили меня, я бы остался трупом на их берегу. Тот человек не дал убить меня. Холодное Волчье море было нашим свидетелем, мы смешали свою кровь и обменялись именами. Теперь его зовут Лютобором, меня – Индульфом. Я не хочу больше нападать на скандийцев. Поэтому сегодня я здесь, а завтра хочу быть на берегах Теплого моря...

Беседе помешал Голуб. Он предложил молодому россичу:

– Мы с тобой попробовали было силу. Давай еще поборемся, разомнемся.

У задорного ильменца осталась в сердце заноза, что не мог он пережать руку Ратибора.

Любимая забава для мужчин – борьба. Самому ли побороться, посмотреть ли – одинаково хорошо. Все, кто услышал вызов, встали в круг.

Ссоры не было, и борьба пойдет только на испытание силы. Борцам делить между собой нечего, кроме чести. Поэтому нельзя хватать за ноги и бить ногами, запрещено тело рвать и давать подножку. За шею браться можно, но не душисть.

У соперников разгорелись сердца. Тут же объявились судьи, чтобы в увлечении никто не нарушил честных правил.

Голуб, голый по пояс, притопывал ногами, разминал руки, глубоко вдыхал, будто принохиваясь, как пахнет днепровский воздух и что сулит удалая забава в новом месте.

Как и все дети в Руссе, голопузым мальчонком Голуб шлепал босыми ногами по весенним лужам, когда под заборами и в тени изб еще лежали зернистые сугробы, черные от пепла очагов, с дырками, пробитыми выброшенной костью. Была и другая забава – разбивать твердыми, как копытца, голыми пятками лед застывших за ночь луж. Малый рано приучался ко всякой работе и во дворе и в поле. Мешая дело с бездельем, мальчишки плавали на ильменских отмелях – кто дальше, ныряли с причалов под челны – кто глубже, кто кого пересидит под водой. Дрались палками, будто мечами, били из самодельных лучков птицу, где ни попадись, метали палки-копья. Мальчишки боронили, косили сено, жали хлеб, рано учились таскать соху-матушку, вязали возы, ездили верхами, гоняя скот и табуны, рубили лес, перетаскивали бревна на себе и на волокушах. Под присмотром суровых старших учились владеть топором, могли собрать сруб на избу, сложить очаг, сделать и насторожить силья-ловушки на птицу и разного зверя. Голуб учился и делал все, что делали все мальчишки, подростки и парни в большой славянской семье, где несколько десятков взрослых мужчин и женщин исполняли разумно-необходимую волю старшего в роде.

Защищенное реками и болотами, закрытое дубовыми рощами, сосновыми и черневыми лесами, северославянское гнездо не испытало набегов чужеродных полчищ. Приильменцам не грозили орды степных народов, висевшие над Русью. Они не знали войн, грозящих племени уничтожением. Бывали неурядицы между собой же, ссоры и свары с близкими соседями – мерянами, чудинами, весью. После нескольких десятков побитых голов стычки кончались мировой. В самый злой час ссоры ни одна из сторон не замышляла поголовного уничтожения или порабощения соседа, ставшего временным недругом. Главным оружием ильменцев служил не меч, а рабочий топор.

Топором ильменский славянин учился владеть не как воин, а по воле нужной работы, так же как кузнечным молотом, который тоже пригоден для драки. И наездником был ильменец из-за трудовой нужды. Леса изобиловали дичью – славянин владел луком, рогатиной. Богатая природа свои сокровища сама не отдавала. Трудиться же стоило. Труд вознаграждался. Взяв одно, рука тянулась за другим, деятельность везде находила себе применение – только умей. К зрелости выковывались и сила тела, и твердость духа.

По такой дорожке шагал и Голуб, с той разницей от других, что его подкалывало беспокойство непоседы. Повзрослев, он не обзавелся семьей – таких называли бобылями. Приходилось Голубу шататься по нетоптаным лесам с ватагой товарищей в поисках пушного зверя, не боялся и один поискать счастья. Он добывал, но не хранил добытое, которое весело уплывало меж пальцев. Доживая третий десяток, Голуб изведаль Север и начал мечтать о новом. На Ильмене довольно слышали о чудесном Юге, реках вина, сладких плодах на берегу Теплого моря, о красивых женщинах. Прусы же были не прочь взять сильных мужчин для помощи в дальней дороге.

На борьбу с Ратибором Голуб вышел с силой, наращенной на широких крепких костях. Спина его не ломилась и грудь не задыхалась под ношей большего веса, чем он сам. Ноги умели носить хозяина с шестипудовым мешком за спиной по кочкам, сквозь бурелом, по зыбким трясинам моховых болот весь длинный летний день.

Так же, как Голуб, подрастал и Ратибор. Те же забавы, тот же труд, от которых не просят пощады и куда слабому лучше не лезть. Так же жизнь испытывала тело холодом, мерзлой слякотью, грубой пищей. Она сама определяла – быть ли дальше парнишке или уйти вслед многим мальчишкам и юношам, слишком хилым, чтобы дожить до возмужалости и служить роду-племени.

Но была и разница. Суровые дети Рось-реки чуть не с первым куском хлеба на молочных зубах познавали себя будущими воинами. Желания и мечты самых смелых устремлялись к слободе. Только там Ратибор нашел образец доблести – воеводу Всеслава. Видимым, осязаемым условием доблести была телесная сила. К первой силе, созданной трудом, слобода умела добавить свою вторую – тяжелыми воинскими упражнениями, в порядок которых был вложен длительный опыт.

Судьи поставили противника на три шага один от другого и отошли: начинай!

Борцы с опущенными руками, чтобы не выдать приема, следили друг за другом: кто схватит первый, тот может сразу побороть, кто ошибется, тот и ляжет.

На руках Голуба мышцы надулись шишками, напряженные пальцы подогнулись, как выпущенные когти. На спине вздулись две подушки, разделенные бороздой хребта. Мышцы на ребрах оттопыривали руки в стороны. Голуб втянул голову в плечи, сделал шажок, еще шажок.

Ратибор ждал, расставив прямые ноги. Гладкий торс с выпуклой над втянутым животом грудью не говорил о напряжении, грудные мышцы с пятнами сосков были как плоские перевернутые чаши.

Голубу оставался еще один шаг. Он не решался. Испытав силу пальцев россича, ильменец остерегался. «Обхватить бы сразу, грудь с грудью, тут я тебя и сломя», – соображал Голуб.

Отступив назад, еще назад, Ратибор заставил Голуба сначала широко шагнуть, затем сделать бросок.

Для россича борьба с другом служила преддверием боя. Слобода учила воина умению вынудить соперника открыться. Расчет должен был сочетаться с силой и ловкостью удара. Ильменец же полагался на силу, на натиск, а там будь что будет. Он не был воспитан для борьбы с неизвестным врагом.

Промахнувшись, Голуб не успел схватить Ратибора поперек тела, а Ратибор поймал оба запястья Голуба. Упершись плечо в плечо, они теснили один другого. Голуб был тяжелее, но ему не приходилось часами держать между коленями двухпудовый камень. Он не мог так сжать ногами ребра коня, чтобы тот, храпя, лег под всадником.

Обоим мешал песок, слишком сыпучий. Цепкие пальцы босых ног не находили достаточной опоры.

Ратибор хотел пустить в дело прием, применявшийся в борьбе с быками. Чтоб повалить быка, гнут упорно всем весом в одну сторону, приучая зверя напрячь силы в другую. Бык не рвется, как иной зверь. Веря в себя, он старается пережать человека, чтобы вырвать из его рук рога и ударить. По напряжению шеи быка, по тяжести, которая сильнее и сильнее давит, человек определяет нужное мгновение и вдруг, меняя руку, рвет туда же, куда приучил давить быка. Потерявшись, бык поддается и падает на бок. Иной раз насмерть хрустят его позвонки.

Ратибор и Голуб казались достойными друг друга противниками. Уже сотни людей невольно сжимали круг, и добровольные судьи отталкивали назад слишком увлекшихся зрителем.

Малх ловко протиснулся в первый ряд. Он увидел не просто состязание двух мужчин, а борьбу двух различных сил. Голуб – это воплощение земли, грубой, тяжелой. Он похож на некоторые изображения Геракла-Геркулеса, в которых полубог кажется утомленным собственным телом. Ратибор же представился Малху подобием солнечного Аполлона. В его теле сила не цель, а предлог красоты, вместилище духа.

Ратибор не видел восхищенного взгляда ромея, все его внимание было поглощено Голубом.

Слышалось, как тяжело, с натугой, дышал ильменец. Капли пота катились по его лицу. Ратибор ощутил, как увлажнилась под его пальцами кожа Голуба.

Он не пытался свалить Голуба, но, внезапно выпустив его, успел обхватить ильменца и поднять вверх, прежде чем тот пустил в ход руки.

Судьи закричали:

– На силу, на силу! – Они напоминали о том, что Голуб не имел права отбиваться ногами.

Прижатые к телу руки делали ильменца еще шире. Ратибор не смог сплести пальцы на спине Голуба и все же держал его в воздухе, не давая вырваться.

Для Малха это была скульптурная группа, он вспоминал миф об Антее и Геракле.

Ратибор почувствовал, что Голуб перестал сопротивляться. Россич не повалил противника, чтобы победоносно прижать плечи к песку, а просто поставил его на ноги и отступил.

Голуб не рискнул продолжать борьбу, не захотел и срамиться бахвальством.

– А и силен же ты, – признался он, – а крепких людей родит Днепр ваш.

«Молодой славянин не только силен, он благороден, – думал Малх. – Он мог бы грубо воспользоваться победой – не захотел. Какой путь проложили бы женщины такому атлету при дворе базилевса! Во времена императрицы Пульхерии он встал бы всемогущим с ее ложа. Но и ныне женщины слишком много значат при дворе, они заставили бы заплатить за твою силу...»

Беспокойный ум Малха, знавшего успехи в театре и клоаку церковной тюрьмы, нашептывал о свежей крови варваров, о новых источниках, от которых могло бы возродиться величие простой жизни. Но христианин напоминал философу безнадежную истину: не вливают молодое вино в старые мехи. Разъедающее сомнение говорило Малху – он сам этот старый мех, изношенный, потерявший прошлое, лишенный надежды на будущее.

Круг, образовавшийся около борцов, распался, только Малх задумчиво глядел на растравшего себе руки и грудь Ратибора.

– Ты настоящий боец. – Слова прусса Индульфа, обращенные к Ратибору, вывели Малха из задумчивости. – Ты хочешь ли помериться со мной?

– Да, если ты хочешь. Будем бороться? – ответил Ратибор.

– Нет. Я борюсь со своими, чтобы тело сделалось сильнее. Настоящая борьба мужчин лишь с оружием в руках и когда ждет смерть. Мужчину узнают не только в борьбе – и в стихиях. Мы не саламандры, чтобы войти в огонь, и умеем летать лишь во сне. Остается вода. Ты хочешь состязаться в воде?

Не только Малх, но и другие ромеи на этом безымянном для них острове умели понять красоту тела молодых варваров. Лениво расходившиеся зрители остановились. Россич был чуть выше прусса, его ноги и шея были немного длиннее. В поясе оба были одинаково сухи и стройны, без капли жира. Может быть, ноги россича были излишне мускулисты для строгого канона; вероятно, упражнения с камнем и конем не входили в программу эллинской атлетики. Плечи Индульфа были более покаты, что считалось красивым. Кисти рук Ратибора были грубее, чем у Индульфа, – россич больше работал руками. Но длиной пальцев он едва ли не превосходил прусса... Трудно было бы сделать выбор.

Малх думал о том, что уже задолго до наступления новых времен никто не удивлялся пастухам, которые беспрепятственно взбирались на вершину Олимпа в поисках капризной козы. Могучая и плотская религия древней Эллады сменилась пустыми для мыслящих людей обря-

дами, якобы нужными для простолюдинов. Авгуры еще, как в древности, читали судьбу, ожидающую империю, по полету коршунов, а очередные императоры уже объявлялись богами, бессмысленно увеличивая население несуществующего Олимпа. Отточенная в софизмах мысль, богатая литература, великолепная архитектура и скульптура заменили добродетели предков. Но империя рано начала опасаться вольнодумства. Петь хвалы императору, а лучше всего – молчать и подчиняться. Ныне прошло более двухсот лет со дня объявления миланского эдикта императора Константина. Опасная религия рабов и угнетенных обуздана, обращена в лучшую опору власти, которую когда-то была готова сокрушить. Торжествующие церковники добились литературы. Два столетия христиане уничтожали бесовские мраморы, но скульптура еще жива. Искусство изображения сохранялось. Ведь статуя злодея могла быть таким же прекрасным произведением, как Диана, Лаокоон или Зевс. Кому-то ведь нужно было ваять императоров и императриц, возводить здания и украшать их, дабы свидетельствовать о величии империи. Еще сохранялся взгляд на тело мужчины как более совершенное по сравнению с отягощенным излишней плотью телом женщины. Христианство с почти бесплотными образами святых, скрытых одеждой, не могло ничего противопоставить заветам былых эстетов.

Дождавшись, когда соперники вошли в воду, ромеи занялись своими делами.

Только россичи ныне оставались на острове; пора купцам кончать торг и возвращаться. Чамота и старшие оказались терпеливы. Они получают больше других, но немногим. Правда, на кораблях осталась лишняя соль, но ромеям нельзя сбивать цену, славяне памятьливы, один год испортит много будущих. Потом, уже на обратном пути, купцы ее высыплют в воду для облегчения груза. В озерах у Меотийского болота соли бесконечно много. И достается она вовсе не с таким трудом и не с такими опасностями, о которых хитрые купцы любят рассказывать легковерным покупателям.

В последние три дня Днепр заметно опадал, но сегодня вода остановилась. Это был признак дождей, пролившихся в верховых лесах.

Впадая в Днепр, Рось образовывала на его правом берегу длинный мыс – им она прикрывалась от старшего брата. От этого мыса до острова было с версту. Голова Торжка отбрасывала Днепр к его левому берегу.

Кто раньше коснется мыса, кто опередит соперника, вернувшись на остров? Мутная вода была так холодна, что тело сжималось, затрудняя дыхание. В первые мгновения пловцы невольно пустили в ход всю силу. Когда кожа привыкла к холоду, они подчинили движения расчету.

Достигнув мыса, пловцы имели право выйти на берег согреться. Естественные условия делали состязание более жестоким, чем казалось на первый взгляд. Отставший, конечно, не захочет терять время на отдых и может окоченеть на обратном пути.

У берега острова течение почти не чувствовалось. Ближе к середине река, прорывая русло в наносах песка и ила, подхватила пловцов. Стало еще холоднее. Вначале, у берега, Ратибор опередил Индульфа. Сейчас он понял расчет прусса. В стержне-струе Индульф поплыл во всю мочь. Он делал частые взмахи, зарывая под себя согнутые в локтях руки. Голову он держал под водой, поднимая лицо для редких вдохов. Ратибор не умел так плавать и потерял преимущество первого броска.

Течение сносило. Какие-то крупные рыбины вдруг заметались под Ратибором. Ему показалось, что жесткий плавник уколол его в грудь.

Перегнав, Индульф продолжал удаляться. Прусс поступил правильно, он быстрее проплыл трудное место. Здесь вода шла тише, соперника почти не сносило. Он был ближе к мысу, чем Ратибор.

Везде, как и в бою, есть своя уловка, свой расчет – побеждают умением. Ратибор сделал ошибку.

Россич не понимал трудности борьбы с пруссом, выросшим у моря. С раннего детства прусса сурово приучили к стылой воде стылого моря, он знал не простой ток речных струй, а предательскую игру прибрежных течений. Индульф увлек Ратибора на поле, где сам он был сильнее, умелее.

Усталости Ратибор не чувствовал, тело слушалось. Примирившись с мыслью о возвращении без отдыха, он следил за Индульфом. Озяб ли он, решится ли выйти на берег, растереть ноги на солнце?

Нет... Ратибору оставалась еще полусотня шагов или взмахов, когда Индульф достиг мели. Встав, прусс сразу оказался по пояс. Разбрызгивая воду, он выбежал на песок, поднял руку в знак первого успеха и снова бросился в Днепр.

Достигнув берега, Ратибор поступил иначе. Гладкий бережок, оставленный отошедшим Днепром, был тверд и ровен, как уложенный тесинами пол. Ратибор побежал вверх по течению. Бежать голым тому, кто умел бегать с тяжелым мешком за спиной версты, не переходя на шаг, было все равно что лететь на крыльях. Он пробежал сотни три шагов, не заметив. Условие не препятствовало такому приему.

Индульф, успев преодолеть почти треть расстояния, плыл прямо против течения. Ратибор плыл наискосок вниз. Их дорожки должны были встретиться на острове, где борцов уже ждали.

Ратибор не заметил разницы в тепле береговой воды – тело застывало. Незаметно для себя пловец коченел. Его и прусса разделяло шагов тридцать-сорок. Сейчас течение помогало Ратибору и препятствовало Индульфу.

Теряя быстроту, Индульф плыл иначе, чем вначале, голову он не погружал, плечи поднимались выше, чем надо. Лицо прусса исказилось, как от боли и досады. Ратибор подумал о судороге, которая могла поразить соперника. Так было однажды и с ним. Летом на дне холодного омута его поймала непонятная, как заклятье, боль, впившаяся сзади в голень.

Ратибор позволил течению снести себя ближе к Индульфу. Еще немного, и оба почувствовали мель. Для зрителей никто не победил. Посинелые соперники вернулись на берег плечо к плечу. Индульф держался прямо, но Ратибор знал, что это дается нелегко: на левой икре прусса вздулась шишка.

Накинув плащи, они отогревались под лучами солнца, разминая одеревеневшие пальцы. Повторить состязание никто другой не решился.

Безделье сменилось спешной работой. Купцы договорились с пруссами, закончили торг с россичами. Пора, пора вниз, пока не открылись пороги.

Ромейские корабли подтянулись ближе к берегу. Челны россичей образовали мосты между берегом и кораблями. С кораблей сносили мешки с солью, короба с сушеной сладостью – коричневыми абрикосами без косточек, сморщенными черными сливами, пахнущими дымом, виноградом, засушенным цельными кистями. Раскатывались, измерялись яркие ткани с нарисованными цветами, птицами, зверями. Разгибались и тоже измерялись жгуты для браслетов и ожерелий, сплетенные из меди, гибкой бронзы, белого серебра.

Украшения отдавались покупателям в маленьких ящичках из кедровых дощечек, что делало еще более заманчивыми затейливые изделия из олова и медных сплавов. Ножи с тонкими лезвиями проверялись на гибкость клинка.

Сухие, почти невесомые стручки красного перца продавали счетом на десяток. Оставшийся лом и семена отдавались покупателю даром. Старшие пробовали, не прогоркло ли оливковое масло, запуская длинные палочки в узкие горлышки высоких глиняных фляг.

Разгрузившись, купеческие корабли поднялись над водой и вновь осели под тяжестью зерна. Россичи таскали кожаные мешки с зерном на спине, придерживая их обеими руками за углы, похожие на свиные уши. Ромеи помогали и следили за равномерностью укладки. Про-

смотренные кожи и шкуры закатывались и сильно стягивались ремнями – так они занимали меньше места. Круги воска забивали вниз, укрывая от солнечных лучей. Ромеи натягивали поверх товара сшитые выделанные кожи для предохранения его от дождя и росы. Один за другим приняв груз, корабли отходили от берега на всю длину якорных канатов. Опасались, что Днепр обмелеет за ночь еще больше.

Прусы и ильменцы не принимали участия в чужом деле. Порасспросив россичей, они на всех своих челнах отправились к левому берегу Днепра поискать свежего мяса и рыбы. Невод у них был свой и не один. Не забыв привезти дров, добычливые охотники позвали россичей к своим котлам, отвечая на гостеприимство.

Светлая заря сменилась луной – серебряным щитом россичей, мрачной Гекатой прежней Эллады, Солнцем Мертвых персидских магов, Ночным Солнцем воровских шаек Византии. Луна выбелила печалью истоптанный песок, коротенькие тени от рытвин испестрили Торжок-остров. Завтра люди уйдут отсюда, дожди смоят следы, изломанные кусты дадут новую зелень, ветер развеет прах костров.

В последний раз пресвитер Деметрий стучался в русские сердца, взывал к русскому разуму.

Россичи не были глухи к могучей поэзии Библии. Их увлекали рассказы о событиях, случившихся где-то далеко, где люди, деревья, земля и сам воздух другие. И вдруг вторгалось чудесное, невероятное, вызывая недоверие к проповеднику, превращая сказание в сказку.

Не находилась заветная тропка. Утомившись безуспешностью труда, Деметрий озлобился и невольно мстил слушавшим. Самые мрачные образы бедствий, обещанных строптивому Израилю его жестокими пророками, вдохновляли речь христианина перед язычниками.

Наслушавшись проклятий, князь-старшина Чамота перебил сердитого ромея:

– Тебе кто сказал, что наше семя погибнет? И что за вред мы кому причинили?

– Вы противитесь, – ответил Деметрий. – Вы отвергаете истинного бога. Он вас накажет.

– Неправда! – возразил Чамота. – Как же нам довелось обидеть твоего бога, коль мы его и в глаза не видали! Ты на него солгал, ты и бойся. Это ты сам хочешь нам дурного. Мы, россичи, в лесу сидим, но не слепы белым днем, как совы. Я ж тебя понял, черный человек. Скажи, от кого узнал, что на нас Степь ополчается?

– Нет, нет, ты меня совсем не так понял, – отказывался Деметрий. – Я предупреждал о гневе божьем в любовной заботе о ваших душах. Я еще раз прошу тебя позволить мне остаться среди вас. Узнав меня, ты найдешь во мне друга.

Чамота досадливо отмахнулся:

– Эх ты! Я про одно, ты на другое отводишь, след путаешь, как лукавый лис. – Чамота положил руки на плечи Деметрия. – Коль ты друг, то признайся! Была от ромеев засылка послов к хазарам? Гляди на меня! Когда было? С чем послы ходили?

Деметрий был готов на мученичество, но грубость Чамоты оскорбила пресвитера, перед которым сгибалась вся Карикинтия. Сбросив руки Чамоты, Деметрий отступил, едва сдержав гнев:

– Я слуга бога. Мне чужды дела светской власти.

– Нет, ты просто скажи, без увертки, – настаивал Чамота. – Ходили ваши послы к хазарам или не ходили?

Прошлым летом какое-то посольство, прибыв морем в Фанагорию, побывало в хазарском городе Саркеле. Ни само посольство, ни его цели не интересовали пресвитера Карикинтии.

– Через Карикинтию никакие послы не проезжали, – твердо сказал Деметрий, не греша против правды.

– Так ты говоришь, что от ромеев никаких посылок к хазарам не бывало? – настаивал Чамота. – Так тебя понимать?

По церковным канонам, которым непререкаемо верил Деметрий, каждый священнослужитель за ложь лишается богом благодати, таинственно получаемой при посвящении в сан.

– Слышал я, что базилевс через другой город, не через наш, сносился с хазарами. Но о чем, того я и никто в Карикинтии не знает.

– Эй, други-братья! – воскликнул Чамота. – Добро этому человеку вещать нам беды будто бы от ромейского бога, когда сами ромеи дружат с хазарами и на нас Степь наушают!

Разом ответил Чамота и на угрозы Деметрия, и на его просьбы остаться у россичей.

Деметрий не мог согласиться с поражением. Как! В словопрениии лесной язычник оказался сильнее служителя церкви, изошренного в диспутах! Нет, нет! Слуга бога не обманется видимостью телесного образа. Это сам дьявол, отец лжи говорил языком славянина. Деметрий громко читал заклинание:

– Да воскреснет бог, и да рассеются враги его...

Индульф пригласил к своему костру Ратибора и несколько россичей. Пруссы и ильменцы братски смешались с хозяевами острова. В их кружок гибко втерся ромей Малх. Он жадно приглядывался, вслушивался, улыбался, стараясь понравиться всем.

Малх успех создать себе мечту: пристать к пруссам и вместе с ними уехать, вернее – бежать в Византию. Кто там помнит осужденного еретика, актера и философа! Папирус приговора давно съеден мышами и муравьями.

– В воде я узнал тепло твоего сердца, – говорил прусс намеком, понятным одному Ратибору. – Таков настоящий воин в соревновании с другом. Послушай, жизнь так быстротечна! Нам нужно спешить...

Индульф рассказывал о темных лесах, растущих на каменных горах у Волчьего моря. Там северный край мира, плавающего в беспредельном океане моря.

Индульф ушел из дома, чтобы познать пространство мира и коснуться его второй границы на берегу океана. Его манили белые дома из камней, полные золота, серебра и особенных женщин. Мужчина хочет все видеть и всем обладать. Ратибор грезил, воплощая слова прусса в собственные образы, неясные, как облака, заманчивые, подобно снам.

– Иди с нами, – звал Ратибора прусс, – возьми своих друзей, здесь настоящие мужчины, для вас найдется место на наших челнах. Иди, я полюбил тебя, у меня не было братьев.

Нет, Ратибор не может бросить слободу. Пусть лучше Индульф остается. Рось-река прекрасна, и будет война, придут хазары или другие воины из степи. Индульфу дадут жену.

Ратибор возражал, а сердце щемило желание – уйти вместе с пруссом.

– Нам горько обоим, – угадывал Индульф, – ты не должен уйти, я не могу остаться. Подумай, воин обязан стремиться к невозможному, счастье мужчин лишь в одном – в невозможном. Слушай же, россич, – говорил Индульф, – у нас есть сказка о счастье. Вот ночь и зима, вот воины сидят у костра в темном лесу, и разбуженная птица проносится над пламенем. Счастье в жизни мужчины так же быстротечно, как тепло, которое лишь на миг ощутила птица. Только невозможное греет сердце воинов, только погоня за ним...

Голоса людей на острове становились то громче, то тише, как голоса птиц, пролетная стая которых спустилась на отдых. Как птицы, смолкли и люди. Под высокой луной все спали у подернутых пеплом костров. Днепр беззвучно колыхал корабли и челны. Наступала прохлада, в поймах густели туманы. Будто братья, рядом спали прусс, россич и ильменец. Один беспокойный Малх последнюю ночь на острове провел без сна.

Едва загорелся восток, как отплывающие ромеи разбудили Торжок-остров звучным зовом корабельных колоколов.

Прощаясь, Индульф отдал Ратибору скандийский нож с желтоватой рукояткой из клыка моржа. На водяном узоре железа были вытравлены странные знаки. Россич отдалился тяжелым ножом работы родового кузнеца с рукояткой турьего рога.

– Быть может, когда-либо увидимся.

– Быть может, желанья исполнятся.

Шел добрый день для начала пути. Ночи обещали быть светлыми. Ромеи торопились. Малх попрощался с Ратибором странными словами:

– Да хранит тебя Зевс, которого не было, и человек Христос, который умер не воскресая.

За последнюю ночь Днепр убыл на три пальца, отмеченных на вбитых ромеями водомерных колах.

Для россичей кончился короткий праздник весеннего торга. Когда Днепр войдет в берега, степь просохнет.

Когда степь просохнет, может быть, придут хазары.

5

В пустыне днепровских вод, в диком безлюдье берегов, растянулся многоверстный караван. Шестнадцать высокобортных купеческих кораблей с косыми парусами на мачтах влекли длинный хвост – по четыре, по пять груженных челнов. Не просто управляться с ними.

Семь прусских челнов, которые казались маленькими по сравнению с кораблями ромеев, шли сзади. Паруса у пруссов были прямые, годные лишь для попутного ветра. Не то что у ромеев, которые играют парусами, принимая перемену ветра. Пруссы больше полагались на весла. Сильные гребцы, они могли бы и без парусов опередить ромеев. Но союз заключен, идут вместе.

За обещание поручительства пруссы дали своих людей на челны в помощь ромеям. Дали, не оговорив цену, за что заслужили скрытое пренебрежение купцов.

С челна купца Репартия ромей Малх печально оглядывался на пустой остров. Потом песчаная коса утонула вдали, кончилось удивительное путешествие вглубь скифской земли. Что ждет в Карикинтии ссыльного? Временный хозяин Малха купец Репартий скажет: «За моим столом тебе всегда найдется место».

Репартий любил поболтать, лежа за трапезой. Для него Малх был редким в Карикинтии собеседником. Но нельзя злоупотреблять гостеприимством, неимущий гость рискует превратиться в шута-лизоблюда. Хороший обед три-четыре раза в месяц – все, что нищему следует получить от благожелательства богатого.

После того как в Карикинтийском порту с его ног сбили цепь и выпустили с галеры, Малх вообразил, что уменье писать выручит его в дальнем захолустье империи. Он ошибся. Через неделю местные писцы донесли архонтам на неожиданного соперника: Малх нечестиво соблазняет заказчиков.

Архонты следили за порядком – малейшее свободомыслие преследовалось привычно, веками. У доносчиков нашлось доказательство – письмо, в котором неудачливый писец забыл поручить адресата заботам святого, чье имя тот носил. Архонты, пригрозив тюрьмой, запретили Малху заниматься этим ремеслом.

Малх мог бы преподавать грамоту, обучать желающих логике и риторике; как бывший актер, он владел искусством красноречия. На старой земле, в Элладе, в Италии, на Босфоре, он нашел бы себе кусок хлеба: там, среди громадных скоплений людей, еще возможны многие вольности. В окруженной же язычниками колонии священнослужители были бдительнее своих собратьев в метрополии. Христианская церковь цепко держала в руках обучение, свирепо наблюдая за ересями, таящимися в глубинах душ. Церковники видели ересь в каждом слове, которое не повторяло в точности ныне признанные тексты священных постановлений. Купцы, яро храня тайны, сами вели торговые книги и переписку или пользовались обученными рабами, над которыми имели право жизни и смерти, как над домашним скотом.

Здесь крылся выход. Малх по договору мог пойти в клиенты, исчезнув в рядах слуг богатей. Отказаться от последнего призрака свободы? Никогда.

Оставалось одно – снова в дом сереброкузнеца, помогать хозяину и работникам мастерить грубые для вкуса Малха украшения из меди, олова, бронзы. Купцы заказывали дешевые хрупкие вещицы для продажи варварам. Добрый хозяин, ценя ловкость рук Малха, давал ему кров и скромную пищу за несколько часов работы в день. Хозяин был справедлив. Труд Малха не стоил большего. К большему Малх и не стремился: ему была противна возня с горнами, с горячим металлом, плавильными формами, молоточками и резцами.

Со многим еще можно примириться. Не иметь никого, кому открыть душу, зная – тебя поймут, на тебя не донесут, – вот что сушило мозг Малха. Мысли, которые человек вынужден носить молча, разъедают душу, как кислота – железный сосуд.

Но Малх хорошо помнил Александрию. Империю наводняли шпионы-наушники; соглядатаи умели вызывать на откровенность, чтобы поживиться долей имущества, которую закон давал доносчику. Потом в дела совести впивались болезненно-подозрительные священники восторжествовавшего христианства. Малх вспомнил Деметрия и содрогнулся.

Зимой Карикинтия страдала от ледяных ветров, злобно несущихся с северо-востока. Земля стыла, брызги волн превращались в ледяную крупу. Малх не имел хорошей одежды. В такие дни даже работа у горна казалась заманчивой. С наступлением сумерек Малх ложился на узенькую кровать под лестницей, ведущей на верхний этаж, закутывался в овчину. Положив голову на кожаную подушку, он вспоминал о том, что свод, поддерживавший лестницу, уже был однажды нарушен землетрясением. Если случится еще толчок... И Малх засыпал без страха, без жалости к себе.

Репартий не приказал – просил Малха плыть на хвостовом челне. Корабль купца тащил пять купленных челнов, груженных ценным товаром. Кроме Малха, гребцами на челне сели прусс Фар и один из рабов Репартия. Плосконосый, плосколицый, с жесткими черными волосами, раб имел особенные глаза: косо прорезанные веки подгибались у носа внутрь, не раскрываясь, как у ромеев, египтян, сарацинов, персов, готов, славян. Сильный, молчаливый до немоты, он родился где-то на восточном краю мира. На рынок рабов он попал вместе с другими пленниками, пойманными войсками полководца Велизария во время одной из войн с персидским императором Хозроем Великим. Раб отзывался на имя Гавалы. Малх думал, что на родине его звали иначе. Гавала – имя персидское, а этот человек совсем не походил на перса.

Карикинтийские ромеи остерегались покупать рабов из гуннов, хазар или славян, родина которых начиналась сразу за городскими стенами. По древнему, хоть и никем не записанному закону рабы увозились подальше от родных мест. Такому, как Гавала, бежать было некуда. Он даже не мог указать, где его родина, под какой звездой. До нее, наверное, было не меньше ста тысяч стадий – расстояние, невообразимое для ума. Гавала был крещен, что обеспечивало ему хорошее вознаграждение в загробном мире за бедствия в этом. При крещении Гавала получил христианское имя Петр. Святая вода освободила Петра от грехов язычников Гавалы. На его голой, безволосой груди болтался медный крестик на сальном шнурке.

У другого попутчика Малха, прусса Фара, в рыжих волосах путался крохотный амулет, мешочек из тонкой кожи. Что там скрывалось, Фар не знал, в чем уступал Гавале-Петру. Может быть, череп летучей мыши, утопленной колдуном в крови весенней ночью, когда луна идет на прибыль. Или косточки из пальца исполина, ноготь дракона. Может быть, и вещь, которую нельзя называть даже шепотом. Чем страшнее она, тем действительнее заклинание счастья.

Для гребцов назначались места среди груза. Одно ближе к носу, другое у кормы. У кормы, почти рядом с собой, Малх посадил прусса. Ромей обязан был следить за расстоянием, избегать рывков, столкновений.

Последний челн напоминал руль корабля. Иногда Малх приказывал работать веслом только одному гребцу, порой гребли оба. На поворотах хвостовой челн помогал длинной вязке описать правильную кривую.

Туго перевязанные шкуры лежали, как бревна. Чтобы увидеть два передних челна из четырех, Малх был вынужден вставать. Ромей был силен и ловок, широкое весло гнулось в его руках, а сам он успевал использовать каждую минуту для разговора с Фаром.

Сколько слов было в запасе у Фара? Тысяча? Две? Не больше трех тысяч, конечно. Впрочем, их никто не считал. Простота грамматики возмещалась интонациями произношения – в них-то и было все дело. Научись их ловить, запоминать, как музыкальные такты, и узнаешь язык. Несколько десятков глаголов и названия двух-трех сотен вещей уже позволяли объясниться.

Днепр заметно спадал. Еще недавно, когда корабли поднимались по реке, Малху запомнилась безбрежность разливов. Особенно поразителен, даже страшен был левый берег – ожившее предание о всемирном потопе. Устья днепровских притоков слились воедино, и коренной берег обозначился здесь и там островками, в которые превратились вершины холмов. Даже взобравшись на мачту, Малх не мог разглядеть конца разлива. Теперь разлив потерял грандиозность.

Ромеи торопились. Пучины вод жили своими законами, силы людей казались ничтожными. Мир коварных чудес порождал постоянное беспокойство, постоянную неуверенность. На кораблях гребли все, помогая парусам, даже хозяева садились на места выбившихся из сил рабов, работников и клиентов. Отдохнув, раб добровольно сменял господина. Страх уравнивал.

Купцы и кормчие много раз поднимались и спускались по Днепру. Вожак каравана совершал свое двадцать третье путешествие. Но тревога, пусть тщательно скрываемая, давила и его. Мир воспринимался как торжество беззакония, распространявшееся и на природу. Христианство, проклявшее все проявления плоти как дьявольский соблазн, обрекало грешника смертельными опасностям. Счастье было обещано праведниками, каждый щеголял благочестием, но кто же искренне сам перед собой счел бы себя святым в минуту опасности!

Испытующий и карающий бог мог приготовить ловушку на днепровских порогах. Ведь божеству довольно на миг отвести руку, чтобы ад поднял голову. Что в подсказках опыта! Да, пусть приметы говорят о высокой воде на порогах. Нельзя успокаиваться, все в руках божьих, никто не знает меры терпения бога. Он захочет – и камни всплывут над водой. Хорошо, коль наказание ограничится мучительным трудом волока. А если бог пришлет кочевников?

Ромеи спешили. Вожак каравана указывал путь, все стремились держаться струи его корабля, поворачивать там, где прошел передний.

Сулу и Псел миновали вечером, луна еще не всходила. На переднем корабле часто-часто зазвонил колокол. Вожак поворачивал к высотам правого берега. С носа бросили свинцовый шар на шнуре, чтобы определить глубину. Разведывая, головной корабль вошел в тихую воду и уже греб против течения вдоль берега. Заговорила труба: главный кормчий передавал указания флоту. Стаи чаек, гусей и уток, устроившиеся было на ночлег, тучами взмывали в страхе перед чудовищами, издающими неслыханный рев. Головной корабль метнул якорь, указав место стоянки. Совершая маневр с удивительной точностью, остальные корабли заняли места у берега. Утром им останется совершить пол-оборота, чтобы восстановить прежний строй.

Пруссы любовались искусством ромеев. Люди Теплых морей прекрасно владели своими высокобортными большими кораблями.

Будильные петухи возвестили рассвет, вместе с пробуждением воскресла тревога. Зов труб и звон корабельных колоколов колебали воздух, изгоняя молчание ночи. Странные звуки расходились в пустыне, подобно кругам на стоячей воде.

Шел час между совой и вороной. Ночная птица уже убралась в дупло, а дневная воровка еще сидела на дереве. На западе опускалась луна, на востоке белело небо. На земле еще длилась ночь, но воды светлели ожиданием дня.

Главный кормчий дал сигнал отправления. Кто не успел съесть свой кусок, пусть ест за работой и ловит горстью речную воду.

Ниже устья Ворсклы правый берег повысился и приблизился. Здесь течение заметно уменьшило скорость. Приближались теснины, которые оковывают разливы Днепра после впадения Самари. Великая река тихо направляла свои воды прямо на восход солнца. Ветер сегодня не помогал, и ромей шли только на веслах. Сняв одежду, обнаженные гребцы обливались потом и жадно хватали воду, охлаждая горячие тела. На челнах все работали, чтоб помочь кораблям. Когда канаты между челнами натягивались, свидетельствуя о лени гребцов, на корабле ударами колокола выбивали число, обозначающее номер челна: хозяин предупреждал о грозящем наказании.

Вопреки общим усилиям в этот день караван прошел не более шестисот шестидесяти стадий, или около ста двадцати верст. Ветер так и не захотел помочь; люди выбивались из сил. До теснин осталось стадий до ста шестидесяти. Вожак каравана счел такое удаление достаточным для безопасного ночлега.

Даже когда вода покрывала камни порогов, не только плыть, но и приближаться к ним в темноте считалось рискованным. Разоблаченные христианством лживые боги бежали из пределов империи в земли варваров. Ослабевшие перед знаменем креста, озлобленные изгнанием, друзья сатаны находили пристанище в диких горах и степях.

Лишившись жертвоприношений и храмов, лживые боги голодали, болели. Но только святой мог позволить себе роскошь бесстрашия перед ними.

В днепровских порогах жили и местные дьяволы, против них молитвы бессильны. Привлекаемые, как многие, чудесным и ужасным, жители Карикинттии утверждали, что ночами над Днепром появляются чудовищные когти и топят корабли, губя людей без пощады. Когда вода обнажает пороги, днепровские дьяволы даже днем осмеливаются угрожать смельчакам. Там, в реве воды, таится хохот сатаны, как железо меча в дырявых ножнах.

Корабли втягивались в тихий затон, избранный вожаком. Затопленное устье безымянного ручья образовало порт, спокойный, как закрытый стенами византийский Буколеон, гавань базилевсов.

Малх прыгнул на ставший рядом челн пруссов, а с него – на один из челнов, купленных каким-то купцом у россичей. Там, раздевшись донага, держа над головой узел с одеждой, ромей осторожно сполз в воду. До затопленных кустов берега было не больше двадцати шагов.

Малх хотел навестить Репартия. Корабль купца-хозяина подтянулся так близко, что на берег перебросили доску. Вдруг Малх услышал свое имя – на прусском челне Фар разговаривал со своими.

Люди, проводящие большую часть жизни вне крова, привыкают говорить громко. Малх уловил похвалы, расточаемые ему Фаром.

Ромей медлил, принимал позы человека, о чем-то размышляющего. Э, теперь его окликают. Да, Фар просит подождать.

Пруссы не захотели прыгать в воду, как Малх. Фар спросил:

– Глубока ли вода?

– Да, можно подойти, причалить, – ответил ромей.

Прусский челн подался вперед – выбирали якорь. Потом гребцы ловко взяли назад и скользнули к берегу, одновременно поворачивая. Можно было восхититься умением гребцов и глазомером кормчего. Челн сблизился с берегом. Берег был обрывистый, шнур лота ушел отвесно по борту. Малх поймал брошенную гребцом веревку. Фар пригласил:

– Будь гостем пруссов.

Трех пруссов ромей уже знал: жожака, молодого атлета Индульфа и Фара. Ромей приветствовал пруссов по-римски – поднятой рукой с раскрытой ладонью.

6

Пруссы успели сварить пищу на очаге челна. Из двух котлов мясо вываливали на кожу, служившую походной скатертью. Ели как придется, лежа и сидя на корточках. Мясо резали боевыми ножами и запивали отваром, пользуясь общим черпаком. Все быстро и жадно глотали пищу. Малху показалось, что трапеза была подчеркнута сурова, как у древних спартанцев. Необходимо утолить голод – и только. Скандийцы покончили с едой в такой срок, в который ромеи успели бы сделать лишь несколько глотков. Опорожненные котлы ополоснули в реке и наполнили для тех, кто хотел утолить жажду, – для пруссов, видно, была хороша и мутная вода, почерпнутая у самого берега.

Глава пруссов, будто собираясь купить раба, пощупал руку Малха. Эти сильные люди должны уважать силу! Малх послушно согнул руку, вздув твердый, как кость, бицепс. Прусс одобрительно щелкнул языком.

Не показать ли пруссам шутки с вещами, которые так поразили воображение Ратибора? Малх вовремя почувствовал, что это может вызвать лишь недоверие пруссов.

– Где ты бывал, какие страны ты знаешь? – спросил Индульф.

А, так Малха позвали за делом – Индульф не станет празднично тешить свое любопытство. Медленно, по слогам, Малх назвал десятка полтора городов, таких как Рим, Афины, Неаполь, Антиохия, Александрия, – быть может, имена мест, знаменитых многие столетия, дошли до гиперборейской Пруссии, до страны, которая, вероятно, была Киммерией Геродота. Неспроста все! У Малха вспыхнула мечта бежать с пруссами.

По неподвижному лицу Индульфа Малх не мог понять, дошел ли слух о великих городах Юга до Холодного моря.

– Покажи города! Покажи, – повелительно сказал кто-то из пруссов.

– Показать? Как?

Индульф дал Малху несколько погасших углей. Черты, изображающие землю, понимает каждый.

На коже, просаленной сотней трапез, появился берег Евксинского Понта. Вот овал его к югу от устья Днепра. Проливы, Эллада, Италия. Малх попытался начертить малоазиатское побережье, устья Нила и пустынный берег Ливии. Карта, начерченная при последнем свете дня на диком берегу! Сколько таких карт чертили люди всех времен, пытаясь понять дни пути и пространство неизвестного мира. Изгнанник уже видел себя в далеком плавании среди гостеприимных пруссов. Он им нужен, он будет полезен. Он мечтал почти вслух.

– Ты раб? – вдруг спросил Малха Индульф.

– Нет.

– Кто же ты?

Дневной свет угасал вместе с мечтой. У Малха не было достаточного запаса славянских слов, чтобы объяснить необходимость тайного бегства, оправдать себя перед людьми, которым ведомы лишь порочащие человека преступления: кража, убийство, насилие. Гнет, который империя осуществляет над совестью и свободой граждан, – как втолковать такие понятия! В лучшем для Малха случае пруссы сочтут его изменником ромейской земли! Все будет кончено с ними тогда. Предавший одного – завтра предаст другого. Старая-старая истина.

Малх почувствовал себя чужим, без рода, без отечества. Петр-Гавала прикоснулся сзади к плечу изгнанника:

– Иди, господин хочет, чтобы ты пришел.

Репартий готовился ко сну. В маленьком шатре нашлось место для двух легких кроватей.

Почти шепотом купец принялся наставлять своего полутоварища-полуклиента:

– Ты совершаешь ошибки, да, да. Ты неосторожен, как юноша. Деметрий недоволен тобой, да, он сердит на тебя.

– Клянусь, на острове я совершил ошибку, не думая, – сознавался Малх. – Но святой человек принял мое покаяние. Он приказал бросить бронзу в реку, я послушался.

Это была хорошая бронза.

Репартий не мог удержаться от укора. Глупец Малх... Не мог расстаться вовремя с красивой игрушкой. Не догадался подарить ее другу. Разве мало Репартий сделал для ссыльного! Но умный человек не станет высказывать сожаление о непоправимом. Репартий продолжал:

– Ты опять рассердил Деметрия.

– Но чем же?

– Для чего ты общаешься с северными варварами?

– Они пригласили меня, у меня не было дурных намерений.

– Э, – жестко сказал Репартий, – ты, видно, никогда не поймешь, что решают не наши намерения, но то, что о них думают другие.

– Откуда Деметрий узнал, где я?

– Служители бога заботятся о наших душах пристальнее, чем о своем благе. Им дано видеть больше, чем нам, – благочестиво сказал Репартий. – Не всякое приглашение следует принимать. И чтобы ты, друг Малх, не согрешил опять, останься ночевать со мной.

На берегу и на кораблях все еще спали, когда Малх потихоньку выбрался из шатра Репартия. Кажется, необходимо что-то решить – эта мысль его разбудила. Он плохо умел решать, когда дело касалось его личной судьбы: Малха слишком сильно занимало отвлеченное, – таков удел слабых душ, по мнению людей, преуспевающих в жизни.

К чему все существующее? Малх не находил ответа. Порой ему казалось, что, родись он в годы, когда христианство было религией угнетенных, протестом против насилия и несправедливости, он отдал бы жизнь за учение Христа, как те праведники, которых ныне славит торжествующая церковь. Нет, хорошо, что он не принадлежал к числу мучеников, обманутых химерой христианства.

Малх по-прежнему увлекался мудростью мира, умершего, быть может, раньше, чем христиане занялись истреблением того, что они называли язычеством. Его увлекали мудрость Эпикура, суровость стоиков, беспощадная логика Сократа, мужество пифагорейцев; тешили загадки Апулея, таинственные намеки магов.

Но все же, к чему весь видимый мир? Да, все говорили о справедливости. И снова мысли Малха возвращались к древним Афинам. Пусть Афины были гражданским раем. А много тысяч рабов, людей-вещей, без которых не могли бы существовать тридцать тысяч полноправных афинян! Впрочем, в том мире хоть не было места лицемерию: раб не считался человеком по закону. Учение Христа будто бы уравнило людей, каждый имеет бессмертную душу, рай для праведных, там не различают состояний. А на земле все по-старому, христианская империя так же нуждается в рабах, как языческий Рим. Вот спит христианин Петр-Гавала. Христианин Репартий может в любой миг распорядиться им как вещью.

В сумраке Малх по длинной рясе узнал Деметрия. Пресвитер уже шел куда-то, он тоже, видно, не знает покоя утреннего сна. Вспомнив уроки Репартия, Малх приблизился, сложив руки горстями вверх, будто желая удержать даваемое: так верующие просят у священников благодеяние благословения. Деметрий обошел Малха, как препятствие на пути.

Жесткий, как кремь, Деметрий ненавидел нечестие. Строгий постник, никогда не прикоснувшийся к женщине, он был беспощаден к себе. Мученики, проложившие путь для торжества церкви христовой, – вот кому он позволял себе завидовать. Ему казалось, что такая зависть – единственное чувство, допустимое для христианина. С неустанным раздражением

Деметрий искал следы ереси и язычества. Его искренне возмущала легкость нравов в городе святого Константина, сила многоглавого греха. С тайной мечтой о мученичестве Деметрий просил послать его на окраину империи для проповеди варварам. Ахонты Карикинтии боялись пресвитера – доносы святого человека прочтут при дворе и могут доложить самому базилевсу, блюстителю кафоличества.

Деметрий изучил язык славян, для проповеди он поплыл с купеческим караваном. Он возвращался разочарованный, с подорванной верой в себя. Слово божие не проникало сквозь грубые оболочки душ. Он хотел остаться среди язычников. Но здесь империя дьявола.

Деметрий видел: для него дорога на Рось закрыта. И он с отвращением думал о сразу опостылевшей Карикинтии. В этом городе, подобном кораблю, который пристал к чужому берегу, Деметрий окрестил всех рабов. Он исправил небрежение других священников, но жил мечтой о просвещении варваров. Варварам нужны меч и огонь и лишь после – святая купель.

Вечером Деметрий наблюдал за беседой Малха со скандийцами. Он завидовал легкости, с которой Малх сходил с варварами. Но ценой чего? Ссылный еретик потакает язычникам. На вопрос о Малхе духовный сын пресвитера раб Петр простодушно ответил: Малх объясняет северным людям, как плавать по морю в Византию. Никто не имел права наставлять варваров о путях в империю... Если твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее...

Глядя на удаляющегося Деметрия, Малх похолодел. Почему пресвитер отказал в благодати?

Из шатра вышел Репартий. Малх не мог удержать жалобу, продиктованную страхом.

– Я говорил тебе, говорил, – с огорчением ответил купец. – Я попытаюсь смягчить его святость. Не могу тебе приказывать, но прошу: не сближайся с варварами.

Деметрий возглашал слова богослужения. Ромеи, свободные рабы, отвечали нестройным хором: «Помолимся!» Или: «Аминь!»

Несколько пруссов принялись к сладкому дыму кадилниц и приглядывались к движениям ромеев. Двое или трое, протолкавшись вперед, подражали христианам. Вероятно, эти прикосновения ко лбу, животу и плечам служат магии доброго заклинания в пути, которое полезно для каждого.

После молебна за благополучное прохождение порогов ромеи разбежались по кораблям, и колокол дал знак отправления.

В затоне, где ночевал караван, вода была как в тихий день на море; разлив-исполин подбивал на берег желтую пену. Легко было определить вчерашний уровень воды – новая ступенька наметилась пальца на два ниже предыдущей. Малх достаточно знал математику Пифагора и геометрию Евклида, чтобы счесть, сколько воды должно было за ночь сбежать через теснины. Но для познания мира нужна свобода души, нужна радость жизни, неразлучная со свободой. В унынии Малх добрался до челна. Унизительна была необходимость слушать Деметрия, молиться под его наблюдением, отвечать на его возгласы.

Вместо Фара на скамье гребца сидел Индульф! В сердце Малха вспыхнула надежда: утопающий хватается за соломинку.

Передний корабль с вереницей челнов описывал кривую на юг, ему подражали с обычной точностью. В месте впадения реки Самари разлив левого берега постепенно сужался. Вскоре показался мыс, покрытый густым кустарником, как баран шерстью. Это справа приближался высокий берег острова, который делил реку на две неравные части.

Внезапно для глаз открылась неровная, но ясно видимая полоса, пересекавшая Днепр. Рябой от ветра разлив превращался в волнистые полосы, бегущие вдоль реки. Подобно началу горного водопада, исполинская сила тянула к себе реку.

На ромейских кораблях опустили паруса. Можно было заметить, как передний корабль, перейдя рубеж, сразу натянул канат, с новой силой увлекая челны. Следующие корабли еще

усерднее заработали веслами, чтобы не отставать. Частые удары колоколов ободряли гребцов. Наконец через рубеж перевалил и корабль Репартия. Канат подскочил над водой. Малх почувствовал рывок.

Берега стремительно уходили назад, челн раскачивало в струях. И Малх видел, что река, нападая на остров, образует один высокий бурун. Бурун особенный, не как на море, где за ударом волны следует отступление, отдых. Стоячий бурун уходил от острова углом, челн подняло и опустило, как щепку. Теперь кораблей не было видно, они скрылись за поворотом. Петр-Гавала и Индульф гребли изо всех сил. Малх помогал гребцам кормовым веслом. Поворот! Малх перебросил весло направо, налег всей силой. Заднему челну никто не поможет, но он помогает передним. Еще поворот, на этот раз налево. Река выпрямилась, показались голые мачты корабля Репартия.

То там, то тут над водой взлетали фонтаны, то там, то тут река вспухала, обозначая верхушки утопленных порогов. Малх старался следить за кормой корабля, угадывать движения людей у руля. Челн еще стремительнее двигался вперед, и Малху казалось, что он опередил бы квадриги на состязаниях зеленых и голубых.

На корме корабля Репартий замахал руками и показал на воду. Через несколько мгновений Малх увидел расходящиеся треугольники струи. Каменный зуб поджидал добычу. Предпоследний челн едва не коснулся его. Не старайся так Малх – и его, и другие челны налетели бы на скалу.

«Почему бы и нет, – думал Малх. – Несколько глотков, судорога глупого тела – и покой, покой, покой...»

Увлечение борьбой минуло. Малх равнодушно глядел на бурлящую воду. Местами кипело, как в котле. Точно адское пекло христиан нашло себе место здесь, под Днепром.

– Ты – мужчина! – сказал Индульф.

Малх сумел оценить похвалу. Он ободрился. И снова движение опьянило Малха. Колокола, чуть отдохнув, возобновляли частый перезвон. Гребцы не имели покоя.

Левый берег то отступал в разливах, то близился мысами, от которых тянулись поперек реки затопленные хребты мертвых чудовищ. Кормчие держались правого берега, казавшегося снизу горой.

Река с грохотом устремилась вперед. Еще и еще бьют гребцы, гнется кормовое весло. Но вот берега расходятся, раскрываются, как жерло исполинской воронки. Полузатопленные острова, течение замедляется. Малх понял, что теснина окончилась. Он взглянул на солнце – сегодня время шло незаметно.

Снизу наплывал большой остров, были видны деревья. Корабли спустились вдоль острова и забросили якоря в подобии бухты. Этот остров никогда не затоплялся. Ромеи назвали его именем святого Григория. Славяне же – Хортицей, по одному из имен Солнцебога. Росичи говорили, что было здесь святилище Хорса, при котором жили собаки особенной породы: хорты-сторожа.

7

Прочно забитые колья для шатров, очаги, защищенные от ветра, широко протоптанные тропы. Пни от срубленных деревьев, заготовленные дрова, легкие постройки из глины и камыша – остров Хорса давно обжит. Однако до прибытия ромейского каравана он был так же безлюден, как берега.

Остров оживал осенью, когда пороги становились неодолимы и волоки обещали слишком много опасностей. Степняки – покупатели ромейских товаров, введенные в искушение, предпочли бы вместо меня ограбить купцов, но не смели.

Торговцы из городов северного берега Евксинского Понта приплывали на осенний торг целыми обществами; купеческие старшины следили за порядком, за соблюдением цен: никому не позволялось сбывать товары дешевле установленного заранее. Жадности варваров купцы противопоставляли расчет с тем же успехом, с каким легион сражался с вольной толпой храбрых, но не знающих военного строя людей.

Осенний торг на Хортице и внешне напоминал сражение: каждый носил оружие, для общей сохранности купцы нанимали отряд пехоты, и торжище походило на военный лагерь.

Во времена владычества готов в приморских степях, и до готов и после, тот, кто возделывал землю на Ворскле, Самари, Орели, доставлял излишки зерна на осенний торг ниже порогов. А степняки везли кожи, шкуры, сушеное мясо, гнали толпы рабов, захваченных в набегах и во взаимных стычках.

На торге Святого Григория первое место занимал живой товар. Здесь великая империя покупала всех и у всех.

Святылище Хорса жило долго. Сменявшиеся хозяева приморья остерегались осквернить его из страха перед мстью чужого бога. Эллины, с их умением находить собственных богов под любыми именами, приносили Хорсу жертвы, называя его Зевсом Скифским. Воинствующие христиане уничтожили языческое капище. Предшественники Деметрия окропили землю святой водой и посвятили остров святому Григорию. Поэтому Деметрий служил молебен на очищенной от власти демона земле. Купцы, воздавая хвалу богу, благодарили за успех, за сохраненную жизнь.

Многие долго не поднимались с колен, скрывая усталость под видом благочестия. Уткнувшись лбом в пол храма – вселенная есть храм Христов, – Репартий в немой молитве восславлял милость божию. Прозревая с небес, бог спас товары, когда раб на челне гнусно прозевал подводный камень. Отвечая вместе с другими на возгласы священника, Репартий просил бога воззреть и на Малха, который спас челны. Конечно, сам бог подсказал взять в поездку ссыльного актера-философа.

Краем глаза Репартий видел Малха. Неразумный внял предупреждению, он здесь и молится на видном месте.

Несчастный – и глупый... Репартий ценил более, чем показывал, общество повидавшего мир философа – актер не привлекал его. Малх, казалось, помнил наизусть Светония, Плутарха, Тацита. Кто мог проверить цветы красноречия, которыми Малх раскрашивал повествования старых писателей? Списки старых книг делались редкостью. История Тацита, написанная на папирусе александрийским способом или на пергаменте по-римски, стоила столько же, сколько годовой груд пяти-шести искусных рабов-ремесленников. Репартию особенно нравились «Анналы» Тацита и «История двенадцати цезарей» Светония. Опасность раздражала аппетит – многие поступки благочестивого базилевса Юстина и ныне властвующего Юстиниана благочестивейшего коварно напоминали те дела старых императоров-язычников, которые Тацит называл преступлениями.

Репартию будет не хватать общества Малха, едкие высказывания ссыльного могли сравниться с перцем в мясе. И Репартий иногда чувствовал правоту нищего философа.

Репартий видел, как Малх усердно молился. Напрасно. Церковь как ястреб – она не разожмет когтей. Глупец, столько раз битый, он не понимал, что слабый должен если не добиваться покровительства сильных, то хоть не вызывать их гнева.

В сердце купца боролись противоречивые чувства. Решался сложный вопрос совести: предоставить жерновам, уже захватившим человека, смолоть его, как зерно, или вмешаться?

Пустыня, здесь мир таков, каким его создал всемогущий. Нигде нет человека, великая река пуста. И все же, чувствовал Репартий, в мире тесно. И не только таким, как Малх.

Размягченный молитвой, успокоенный общением с богом, который явно благоволил в эту поездку Репартию, купец решил тайно поговорить с Малхом.

Он шепнул:

– Малх, пойдй за мной незаметно, нас не должны увидеть.

Малх нашел Репартия в роще, на высокой части острова.

– Ты избавил меня от большого убытка, – тихо говорил Репартий, – я благодарен. Я скажу то, чего не должен был открывать тебе. Деметрий потребовал, чтобы я перед высадкой в городе забил тебя в колодки и передал архонтам. Ты препятствовал проповеди истинной веры среди варваров и открыл им дорогу в империю. Я должен выполнить желание пресвитера.

Малх схватил руки купца. Слова объяснений, оправданий рвались с его уст.

– Молчи, молчи, – шептал Репартий, – слова бессильны. Ах! Сюда идут!

Оба присели, озираясь. Никого не было. Испуганный Репартий поспешно договаривал:

– Скорее, Деметрий не должен меня заподозрить. Делай что хочешь, размысли, у тебя еще есть время. Помни: я молчал, ты ничего не слышал! Видит бог, и пресвятая дева, и Троица единосущная – я ни при чем. Это твое дело, твоя судьба.

Репартий часто-часто крестился, разрушая дурное сплетение своей судьбы со злосчастной долей Малха. Охваченный суеверным страхом, купец клял свое вмешательство. Сейчас его толкнуло в сердце, он узнал – злой рок преследует этого человека. Когда судьба против, ничто не поможет. Сделав указательным пальцем и мизинцем правой руки рога – так Дева Мария отгоняла сатану, – Репартий почти бежал. Лишь на открытом месте он пошел тихо, как приличествует достойному человеку.

Малх забыл усталость. Казалось, уже захлопнулась железная дверь тюрьмы. Знакомый ход, облицованный камнем, идет покато вниз. Уже поднимают крышку в полу. Ступай туда, в черную дыру. Ее называют всерьез, не в насмешку, мирным местом. Потом вытащат, полумертвого от голода и жажды, опьяневшего от смрада. Накормят соленой рыбой, вывернут руки, иссекут кнутом с медными колючками, сорвут ногти, испещрят каленым железом. Заставят назвать небывалых сообщников – подскажут кого. И добьют, когда вместо Малха останется раздавленный, онемевший остов человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.